



# НОВАЯ ПОЛЬША 7-8/2005

## Содержание

1. ЗАВТРА - ЭТО СЕГОДНЯ, ДА ТОЛЬКО ЗАВТРА
2. "СПИДОЛА"
3. ПОЭТ ОБОИХ НАРОДОВ
4. ЧЕЛОВЕК С ГОР НА РАВНИНЕ
5. ХРОНИКА (НЕКОТОРЫХ) ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ
6. ПРИМИРЕНИЕ НАД МОГИЛАМИ
7. ОЧИСТИМ ПАМЯТЬ ОТ ФАЛЬШИ
8. МОИ РУССКИЕ
9. ЧЕ ГЕВАРА
10. ПЕРСОНАЖ
11. НОВАЯ КНИГА
12. ВЫСОЦКИЙ - ФИГУРА ПОЛЬСКОГО МЫШЛЕНИЯ О РОССИИ?
13. ЛЕТОПИСЬ КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ
14. ВЫПИСКИ ИЗ КУЛЬТУРНОЙ ПЕРИОДИКИ

Александр Бондарев

# ЗАВТРА – ЭТО СЕГОДНЯ, ДА ТОЛЬКО ЗАВТРА

Многое из того, что происходит в мире, – идиотизм,  
который усугубляется день ото дня, но осуждение этого  
идиотизма

представляется мне банальностью.

С.Мрожек, "Автобиография"

Славомира Мрожека сегодня можно не представлять русскому читателю: недавно выпущен очередной пухлый сборник (более 800 страниц) его произведений (редактор-составитель А.Базилевский), пьесы его идут по всей России (в самых различных параллельных переводах) да и в других странах мира. Он стал "живым классиком" мировой драматургии.

Но как раз в эти дни, когда отмечается 75-летний юбилей писателя, все чаще (особенно в его родной Польше) слышится вопрос: "А не устарел ли Мрожек?"

"Мрожека играют реже, потому что он тщательно заботится о форме, что сегодня не в цене. Дело в том, что наше время не способствует высокой культуре", – пишет известный режиссер Ян Энглерт в юбилейном выпуске серьезной польской газеты. Там же можно прочитать, что "исчезновение пьес Мрожека с афиш польских театров легче всего было бы объяснить тем, что вместе с падением прежнего режима его комедии перестали быть актуальными". По-польски это слово имеет два значения и, выражаясь точнее, это значит, что пьесы Мрожека перестали быть злободневными.

Другие пишут, что Мрожек сам себе закрыл дорогу к зрителю: его тексты не дословны, он не использует вульгаризмов, не показывает голых тел или сцен насилия. Он основывает свои пьесы на диалоге, в котором есть время на размышление – и молчание. А у кого в эпоху мобильных телефонов, SMS-ов и e-mail'ов есть на это время? Иначе говоря, пьесы Мрожека стали старомодными.

И наконец: "Но кто из режиссеров отважится действовать так, как это указано автором во введении к его первой пьесе

"Полиция" (1958): "Эта пьеса, если она будет поставлена, требует напряженного внимания со стороны зрителей. Так что она будет утомительна, если ее не показать отчетливо и чисто".

Но всех превзошла одна молодая гражданочка, представляющаяся режиссером: "Трудность с Мрожеком может состоять в том, что он выражается полными фразами, с помощью которых мы теперь не общаемся. Но, быть может, когда вернется способность правильно формулировать свои мысли, он вернется на сцены. Может, и не польские, а, например, румынские или венгерские". То есть мы должны не только уметь слушать, но еще и "правильно выражать свои мысли"! То есть пьесы Мрожека не годятся для аудитории, привыкшей к "массовой культуре", или, выражаясь короче, это не "попса". А последняя фраза так просто как из самого Мрожека: пусть, мол, отсталые румынцы и венгерцы нас догоняют, а то ведь мы уже во-о-о-о-н как далеко ушли! По пути, надо полагать, "прогресса". Ведущего, как известно всем культурным людям, "в Европу".

В одном из рассказов Мрожека есть фраза, которую в Польше знают практически все: "Вы вот тут заладили: прогресс, Европа... А у нас чуть выставишь молоко, чтоб сквасилось, как тут же вылезают откуда-то горбатые гномы и ссут нам прямо в крынки". Может, и правда, теперь все по-другому? Так нет же: все так говорят - и компьютерщики, когда что-то не ладится, и инженеры, и врачи... А режиссеры, творцы? Они, надо полагать, уже в Европе...

Есть, правда, отдельные исключения: вот, например, крупный режиссер Филип Байон только что поставил "Танго" (1964). И заявил при этом: "При выборе пьесы я всегда думаю о том, что она значит для современности. Парадоксально, но у меня создается впечатление, что современные пьесы меньше говорят о современности, чем классические драмы или даже древнегреческие трагедии, где можно рассказать о современности больше, чем в современной драматургии, которая довольно ограничена, хотя и любопытна. А "Танго" рассказывает о действительности в целом и остается, по сути, актуальным всегда". Ну так ведь и Байону уже под 60, он на Мрожеке вырос, небось, и сам устарел...

Если говорить о "Танго", то это чаще всего ставящаяся в мире пьеса Мрожека. В ней самым крупным его открытием было наблюдение, что сутью сосуществования отдельных людей и целых поколений в наше время является взаимное насилие, а не мирное сосуществование в противостоянии, результатом

чего становится полное смешение связанных с этим понятий. А в 2000 г. известнейший польский критик Тадеуш Нычек писал: "Сегодня "Танго" вновь приобрело злободневность и может играть совершенно "в лоб". Так ведь и Нычеку тоже уже под 60...

В общем, упреки ясны, проблемы определены. Обозначается традиционный разрыв между поколениями. В новой польской тусовке Мрожек больше не котируется – утратил связь с действительностью. Что вполне естественно для более чем пожилого человека. Как-никак, 75 лет – не шутка. Можно сказать, классик.

А как обстоит дело в России? И вообще – какая разница между злободневностью и актуальностью (по-русски, слава Богу, это понятия разные)?

Что касается "Танго", то в 60-е годы попытка поставить эту пьесу в театре "Современник" была запрещена, но в конце 80-х "Танго" шло сразу в двух московских театрах, да и сейчас идет по всей стране, как и многие другие пьесы Мрожека.

Знакомиться с Мрожеком в России люди начали с переводов, печатавшихся в журнале "Польша", – там были рассказы, одноактные пьесы, маленькая повесть "Побег на юг", – а году в 67-м, 68-м даже "Литгазета" публиковала иногда какие-то фрагменты, афоризмы и т.д.

А сценическая жизнь Мрожека в Москве началась в 1983 г., когда Михаил Мокеев поставил "Эмигрантов", где играли Рома Козак и Саша Феклистов (теперь один из них стал главным режиссером одного московского театра, а второй – знаменитым актером). Миша, с которым мы тогда дружили, остался просто режиссером. Я уже знал пьесы Мрожека по польскому журналу "Диалог" и страшно обрадовался, когда в один из моих наездов в Москву Миша пригласил меня в какой-то подвал (лучшую сценографию найти было бы трудно), где время от времени они этот спектакль играли. Сегодня Феклистов вспоминает: "В свое время мы с Мокеевым сделали очень шумевший спектакль "Эмигранты", потом объездили с ним полмира. Но это случилось намного позже. В советские годы с "Эмигрантами" были большие проблемы. Спектакль оказался в глубоком подполье, нас не пускали за границу, таскали в КГБ, потому что это был Славомир Мрожек, которого запрещали ставить в то время".

А запрещали ставить потому, что в 1968 г., находясь в Париже, Мрожек напечатал в газете "Монд" протест против вторжения

войск Варшавского договора в Чехословакию (что, как он прекрасно осознавал, закрывало ему путь на родину) и попросил политического убежища во Франции. Другие польские писатели, взявшие на себя роль "совести нации", этого не сделали (за исключением Ежи Анджеевского), а Мрожек сделал, хотя никакой "совестью нации" себя не считал, скорее наоборот. Разумеется, его книги исчезли с полок (а пьесы – со сцен) во всем "соцлагере".

А Феклистов, когда-то буквально потрясший театральную Москву в "Эмигрантах", вновь заставил говорить о себе, как об актере, имеющем абсолютный "слух на Мрожека", после исполнения роли Захедринского в спектакле МХАТа имени А.П.Чехова "Любовь в Крыму", поставленном в 1995 г. все тем же Р.Козаком. Это самая "русская" пьеса Мрожека (написанная, кстати, по-французски для конкурса на лучшую французскую пьесу). 1-й акт – отдает Чеховым, 2-й – Зощенко, а третьем, современном и, следовательно, самом сюрреалистическом, кроме основных действующих лиц пьесы появляются исполинский Генерал, голова Священника, Оборотень и Екатерина Великая. Впрочем, надо сказать, что в 1-м ("чеховском") акте на сцене появляется Ленин.

Все это похоже на игру "всерьез", о которой Мрожек пишет в своем эссе "Театр и действительность", опубликованном еще в 1989 г. и до сих пор, насколько мне известно, не опубликованном по-русски: "Все, что происходит на сцене, имеет свое начало и конец, но что гораздо важнее – не имеет никаких последствий. Совершенно иначе обстоит дело в действительности, где отдаленные последствия наших поступков становятся в конце концов непредсказуемыми. Сознание того, что цепочка причин и следствий будет продолжаться даже после нашей смерти, невыносимо. Ведь наш конец должен быть концом всего на свете. Зато мы всегда знаем, как закончится действие на сцене. Действия без последствий – это приманка для любой игры, не только театральной. Именно она заставляет нас играть – в театр, в шахматы, в карты, во что угодно".

Превосходно подметил эту черту драматургии Мрожека Ежи Помяновский в своем эссе с многозначительным названием "Россия как декорация", опубликованном в "Новой Польше" (2003, №9): "Мрожек относится к своим персонажам как к фигурам на шахматной доске, с железной последовательностью и редкой смелостью доводя каждый конфликт до крайности, а каждую шутку до абсурда".

Как тут не вспомнить булгаковских "человечков в коробке" из "Театрального романа"!

Тот же образ появляется у такого проницательного онлайн-критика, как Саша Гезенцвейг: "Понимаете, из того, что я понял на его спектаклях, мrojeковская тема – это разрушающие испытания человека. Как в механике сопротивления материалов: бывают неразрушающие испытания, а бывают разрушающие. И если бы он разрушал свои персонажи, держа себя в холодке, в тенечке безопасности и неподсудности, я бы так и продолжал относиться к нему – еще один Сорокин времен Нерона и Сенеки. Но в своем "Дневнике возвращения" (где рассказывается, как 66-летний писатель и прославленный драматург, нытик и мудрец, решает возвратиться на родину после 33 лет на Западе) он с такими же ясными глазами выкручивает себе руку и описывает, как он корчится. Он чудесный.

Мrojeк создает своих человечков и помещает их под пресс. Он начинал карикатуристом, это вспоминается, когда смотришь на свободу, с которой он комкает судьбу своего персонажа. Основной конфликт массы литературных и драматических вещей разных авторов – столкновение героя и среды. Некоторые писатели сделали это своим фирменным стилем, особенно героического, или стоического направления. У них герой преодолевает или претерпевает. Мораль – "Человек – это звучит гордо". Мrojeковский Человек звучит жалко"

Могу признаться: у Мrojeка в Париже подобные "человечки" жили в специальной комнате, и я видел их собственными глазами. В 1988 г. Наташа Горбаневская при моем участии брала интервью у Мrojeка для журнала "Континент". Я пришел на встречу первым и застал Мrojeка играющим в какую-то "стратегическую игру". На полу была разложена карта размером примерно 3 на 5 метров, а на ней располагались солдатики, батальоны, армии. Это были игры, воспроизводящие знаменитые сражения, но результат их зависел в определенной степени от играющего. Это были те самые "действия без последствий", о которых писал в свое время Мrojeк. Мrojeк серьезно и обстоятельно свернул и сложил игру, после чего поставил ее на стеллаж или что-то подобное. И тут я остолбенел: этих игр там были десятки, если не сотни! И в любой из них могли выиграть как одни, так и другие, как "немцы", так и "наши"!

И тогда я вспомнил апокрифический рассказ о том, как Мrojeк в первый раз вернулся в родной Краков. После дружеского ужина с обильным количеством выпитого Мrojeк с хозяевами

вышел на улицу. "А как эта улица называется?" – спросил Мрожек. "Имени героев Сталинграда" – ответили ему. "Как же, припоминаю... – невозмутимо протянул Мрожек. – Проспект фон Паулюса, да?"

После этого в комнату вошла красавица-мексиканка. Ее звали Орарио Росас, она вот уже год была второй женой Мрожека и театральным режиссером. (Некоторое время спустя он уехал с ней в Мексику, чтобы потом вновь вернуться в Европу. "Париж или Краков?" – спросил ее Мрожек. И она, не колеблясь, ответила: "Краков".)

Потом пришла Наташа Горбаневская и начались вопросы. Мрожек отвечал серьезно, тщательно формулируя фразы. И говорили мы как раз о том же, о чем и сейчас.

С.М. Например, первый мой сборник рассказов, который заметила критика, назывался "Слон". Он был издан в Польше еще в 1953 году, и тогда мало кто сомневался, что эти маленькие рассказы имеют, в общем, довольно прямое отношение к тем условиям, в которых мы жили в начале 50-х годов. Но вот гораздо позже, лет 20 спустя, я случайно узнал, что некоторые из этих рассказов были переведены в коммунистическом Вьетнаме и изданы в качестве сатиры... на порядки в Южном Вьетнаме. Так что мои произведения, оказывается, вполне могут различно интерпретироваться в зависимости от геополитического, исторического и прочих контекстов.

Или еще другой, более выразительный пример. В моей первой пьесе "Полиция" я попытался раскрыть полицейско-политический механизм функционирования тоталитарного государства. И что же? За последние 30 лет ее ставили в самых различных странах, в условиях самых различных режимов – и я не думаю, что из чисто академических соображений. Значит, и режиссеры, и зрители находили в ней нечто, непосредственно связанное с конкретной, местной ситуацией.

Н.Г. Выходит, в зависимости от местных обстоятельств любая ваша пьеса может оказаться злободневной сатирой?

С.М. И не только моя – вообще любая! (...) Дело в том, что абсурдный юмор, поэтика абсурда – это такой механизм (я бы сказал – механизм чисто логический), который действует всегда и постоянно.

Его друг Константы Пузына, уже умерший театальный критик, поэт и главный редактор "Диалога", формулирует это

так: "Мрожек обнажает "абсурд" в формах общественной жизни, когда они теряют смысл и становятся самоцелью, но он обнажает его через посредство логики рассуждения, а не через ее разрушение".

В следующий раз я был в гостях у Мрожека и его жены как раз с Котом Пузыной и моей польской подругой М. Пили мы до утра, остроты сыпались одна за другой, все падали под стол от смеха. Кроме Мрожека, который ни разу не засмеялся собственной шутке – он всегда выслушивал ее как бы со стороны.

Он вообще смотрел на себя как бы со стороны, и взгляд этот был печален. В "Автобиографии" он пишет:

"Я родился 29 июня 1930 года (официальная дата моего рождения, 26 июня, неверна, но так она была занесена в церковную книгу и так переходила из документа в документ). Как это произошло, не помню, и мне остается в это только верить. Если существует жизнь после смерти, я, пожалуй, так же не буду помнить своей кончины. Немного грустно, поскольку это по сути означает, что мы не можем быть уверены ни в собственном существовании, ни в отсутствии такового".

\* \* \*

Что же осталось от наследия Мрожека?

Можно с уверенностью утверждать, что "Мрамор" (1984) И.Бродского был написан под прямым влиянием "Эмигрантов" (1974) Мрожека, а "Демократия!" (1990–1992) – не без влияния "Полиции" (1958) и некоторых других его пьес. Традиция Мрожека во многом повлияла на крупнейшего драматурга современности Тома Стоппарда. Кстати, сразу после опубликования "Танго" еще никому не известный тогда Стоппард напечатал первый перевод пьесы на английский (1966). Этот год был для него счастливым: именно тогда, после премьеры "Розенкранц и Гильденстерн мертвы", началась его триумфальная театральная карьера. Впоследствии Бродский в своем роде "отдал долг" Стоппарду, сделав в конце 60-х годов первый русский перевод "Розенкранца и Гильденстерна". Это была фактически "его собственная" тема, но восходила она к Мрожеку. Можно со значительной долей уверенности утверждать, что Мрожек был "духовным отцом" таких выдающихся русских драматургов, как Людмила Петрушевская и Алексей Шипенко. Веничка Ерофеев говорил мне, что пьесы Мрожека "слишком серьезные", и безусловно предпочитал рассказы, что видно, как говорится, невооруженным глазом. А разве не из Мрожека родом Максим Кононенко, онлайн-овый



Mr. Parker, вот уже несколько лет продолжающий свою эпопею "Владимир Владимирович", состоящую из историй на полстранички?

Так актуален Мрожек в России или нет? Или здесь просто совпадение, ибо все знают, что абсурдный юмор во всем мире понимают только англичане, русские, поляки и евреи?

Вот диалог интеллигента и обывателя по поводу свободы творчества и его влияния на само творчество.

XX. И ты обо всем этом написал?

АА. Нет.

XX. Почему?

АА. Потому что боялся. (...) И вот тогда, чтобы не бояться, я бежал.

XX. Ну и что, пишешь?

АА. Пока нет.

XX. Почему?

АА. Потому что уже не боюсь.

XX. На тебя не угодишь.

АА. Форменная квадратура круга. Стремясь воспользоваться единственным своим шансом, я его утратил. Бежав, перестал быть рабом. Распылился, растворился в свободе.

"Эмигранты" (1974)

И ровно 30 лет спустя Фазиль Искандер подтвердил правоту и актуальность мрожековского предвидения в интервью по поводу своего собственного 75-летия (оказывается, они с Мрожеком почти ровесники):

"На меня новая литература, созданная в условиях свободы, производит какое-то мелкотравчатое впечатление. Пастернак в цикле стихов о Кавказе говорит о "наглядности преград". Так вот раньше писателя вдохновляла совершенно наглядная преграда идеологии, цензуры, и он ясно видел: вот враг свободного творчества, вот что мы должны обойти, чтобы сказать правду о жизни. И так или иначе талантливые люди довольно часто обходили эти преграды и по-своему взрывали их.

По-видимому, когда достигается свобода, у людей, боровшихся за нее, опускаются руки. Свобода достигнута, что еще говорить. Но мне кажется, что писатели должны в любой свободе находить элементы новой несвободы и против этой несвободы бороться так же вдохновенно, как мы боролись против несвободы тотальной".

И еще про "время, в котором стоим", как нас научил говорить Ф.Искандер. Как пишет критик А.Михеев, "не имеет шансов устареть "Полиция" – эта притча об идеальном государстве, где последний политзаключенный раскаивается в грехах молодости и становится адъютантом генерала, а сержант – провокатор, служака, самозабвенно преданный режиму, вынужден принять на себя роль террориста, чтобы не прекращали крутиться колесики репрессивного механизма – ведь если врага нет, его выдумывают".

Много лет люди находили в текстах Мрожека зеркало окружающего их повседневного абсурда. Некоторые только благодаря этим текстам осознавали, в чем они принимают участие. Если сотрудник тайной полиции берет на себя роль террориста – это не просто абсурд, это абсурд повседневный. Но чтобы осознать это, по Искандеру, нужно время и опытный глаз, способный увидеть новые формы несвободы и выработать новые способы сопротивления. Искандер говорит, что это время пока не пришло. Так что будем ждать: тексты Мрожека учат нас не только мужеству, но и терпению.

\* \* \*

И, наконец, несколько злободневных примеров высказываний, взятых из российской действительности. Точнее говоря, из политической жизни. Сплошь цитаты, и все как на подбор – словно из Мрожека. Причем я специально не цитировал никого из самых уважаемых и любимых (если верить опросам населения) российских политиков, а взял в качестве примера только одного из них – главного идеолога В.Ю.Суркова, – да и то лишь потому, что он там считается самым образованным, красноречивым, а в последнее время и самым многообещающим. В смысле – перспективным. Но есть и высказывания других лиц, из среднего руководящего звена, тоже в своем роде подходящие.

В.Ю.СУРКОВ: Конечно, хорошо быть предпринимателем в свободной стране и при этом чувствовать, что ты живешь в сильной стране, с твоим Президентом считаются другие мировые лидеры, ты можешь поехать в другую страну и не

чувствовать там себя клоуном. Это важно. И ценность семьи важна.

Чистый Мрожек. Когда мне было лет 6, я собирал почтовые марки и потому знал наизусть названия всех стран мира и их столиц, а также их расположение на карте. Тогда я рассуждал примерно так: "Как я горжусь, что родился в такой большой и сильной стране, как СССР. И как, наверное, стыдно родиться в какой-нибудь маленькой Норвегии или Голландии. Никто тебя уважать не будет, не говоря – бояться. Вот Америка – они наши враги, но тоже большие и сильные. Поэтому их уважают и боятся, но нас, наверное, все-таки еще больше". У меня подобное умонастроение прошло через пару лет, а вот у некоторых осталось. Если не из сильной страны – значит, клоун. Это понятно. Но при чем здесь семья – непонятно. Дальше про нее ничего нет. Хотя возразить нечего – ценность семьи и впрямь важна.

В.Ю.СУРКОВ: Сначала коротко о том, что мы хотим. Мы хотим видеть Россию демократической страной с развитыми экономическими институтами. (...) И если что-то не получилось сходу, не надо говорить, что у власти серые мыши, которые ничего не понимают. Это не совсем так, а может, совсем не так. (...) В новой процедуре назначения губернаторов увидели только произвол власти. Но, пардон, мы застраховались от целого ряда моментов достаточно идиотских. В силу тех же причин. Извините, культура у нас пока не та. Не то, что кто-то не доверяет народу. Но нам не хватает еще, чтобы в Дагестане избрали какого-нибудь там ваххабита!

Стиль тот же, но до глубины внутреннего абсурда Мрожек, пожалуй, не дотягивает. А вот про соблазны – это уже из него.

В.Ю.СУРКОВ: Когда мне говорят о зависимости судов – да, она есть. Но что с ними делать, если они зависимы по природе своей? Если люди там либо покупаемы, либо боятся начальственных звонков. Что прикажете с ними делать? И кто удержится от соблазна подчинить их себе?

Да, товарищ Сурков, других судей у меня для вас нет, как сказал бы товарищ Сталин. И действительно, кто ж удержится от такого соблазна? Ясно, что никто. Надо полагать, других руководителей у нас для вас тоже нет.

В.Ю.СУРКОВ: Хорошо бы в Европу убежать, но нас туда не возьмут. Россия – это плохо освещенная окраина Европы, но еще не Европа.

Что правда, то правда. Помните у Мрожека про горбатых гномиков? А про Европу г-н Сурков в другом месте хорошо сказал: "Лучше уж быть врагом, а не как сейчас, двусмысленными друзьями! Вот как бы что мы хотим". Кстати, о врагах он и раньше говорил.

В.Ю.СУРКОВ: Мир, оказывается, не так прекрасен и разумен, как хотелось бы. В нем обитает враг, с которым нельзя справиться так называемыми "цивилизованными" методами. Все мы должны осознать – враг у ворот. Фронт проходит через каждый город, каждую улицу, каждый дом. Нам нужны бдительность, солидарность, взаимовыручка, объединение усилий граждан и государства.

Окулист. Могу ли я знать, по какой причине Дедушка потерял остроту зрения?

Внук. От высматривания. Дедушка всегда высматривал, не идет ли враг. А у нас, знаете ли, в окнах грязные стекла. Сколько раз мы ему говорили: подожди, дедушка, до Пасхи, когда стекла вымоют. Но он спешил. Он даже во сне высматривал. Уж он такой.

"Кароль" (1961)

В.Ю.СУРКОВ: Мы не просто за демократию. Мы за суверенитет Российской Федерации. Суверенитет надо блюсти. Здесь есть прямая задача борьбы с терроризмом.

И надо же, всего два месяца спустя "Россия оказалась единственной страной, отказавшейся официально почтить двухминутным молчанием память жертв лондонских июльских терактов" ("Европеец", 14.07.05). Есть и другие проблемы.

В.Ю.СУРКОВ: Я помню, как мы (...) собрали гражданское общество, как они себя называли. Вот, говорят, нас не пускают в прокуратуру. Итогом форума стало поручение президента всем установить регулярность таких встреч. Так я их потом палкой туда загонял! Зачем же вы горлопанили на каждом углу? Я два раза лично загонял некие группы туда ходить. Потом все закончилось. Ужас! Вообще, чем больше я работаю там, тем больше я разочаровываюсь в мире. Есть проблемы.

Сам Мрожек, надо сказать, тоже разочаровывался, и не раз. Однако в рассказе "Разочарование" он предложил концепцию, которая могла бы помочь г-ну Суркову. Вот она:

"Давайте посмотрим на разочарование по-новому – как на доказательство ума. Кто не испытывает разочарований? Только тот, кто упорствует в заблуждениях. Но именно это и означает, что его разум спит, либо он попросту отсутствует.

Когда наступает разочарование? Тогда, когда ситуация, которую мы прежде оценивали положительно, представляется нам отрицательной. Но почему? Можно сказать: ситуация была хорошая, но постепенно изменилась к худшему. И обидеться на нее за то, что она изменилась. Однако можно сказать иначе: ситуация была нехорошей с самого начала, только мой разум спал, но – слава Богу – он вовремя проснулся. Так что все скверно, но не так уж скверно, ведь в конце концов я оказался не таким дураком, каким едва не стал. Так мы себя утешаем".

Но г-ну Суркову этот интеллигентский способ не подходит. Он предпочитает героико-романтический, тем самым становясь в позу, неоднократно высмеянную Мрожеком. Так почему же, перефразируя известную песенку, все так хорошо, если все так плохо? Ответ прост: потому что мы не такие, как все.

В.Ю.СУРКОВ: У нас есть вера. Чего не было в других режимах в наших соседних государствах. Мы уверены, поскольку она есть у нас, мы сможем вдохновить других людей. Благо для всех этих затей не так уж и много людей надо. Спасибо за внимание.

Дальше снова из Мрожека. Сопредседатель некоего Координационного совета, где выступал В.Ю.Сурков, заявил, что совет "вдруг вылился в мини-мозговой штурм", тем самым поставив под сомнение умственные способности своих коллег. А председатель совета, наоборот, заявил, что хотя "многое из того, что приводит редакция радиостанции N., обсуждалось на встрече, но сам текст выступления не аутентичен. Это вольная трактовка с акцентами и нюансами, которые сильно изменили смысл встречи". Так что есть проблемы.

Предпоследняя цитата свидетельствует, что актуальность Мрожека иногда даже опережает самую действительность. В пьесе "Любовь в Крыму" (1993) мы обнаруживаем пророческий диалог двух матросов образца 1905 года, с броненосца "Потемкин":

1-й МАТРОС (читающий газету). Федя! Поляки Киев взяли!

2-й МАТРОС. Киев все равно уже не наш.

И, наконец, отрывок из сверхпророческого рассказа  
"Заявление", написанного почти полвека назад:

"Настоящим убедительно прошу передать мне власть над миром.

Просьбу свою я обосновываю тем фактом, что я самый лучший, самый умный и более индивидуальный, чем все остальные люди.

Заявляю также, что край наш бедный, земли неплодородные, да и дома у меня на иждивении восемь человек, в том числе двое из интеллигенции. Таким образом, нет у меня ни денег, ни армии, чтобы весомо поддержать свою просьбу. В связи с этим прошу также освободить меня от обязанности обладать ядерным оружием. При необходимости обязуюсь представить справку из нашей церкви.

Я осознаю, что в подобной ситуации будет довольно трудно отдать власть в мои руки. Но я все же не теряю надежды, что как энтузиазм народов мира, так и историческое развитие мою просьбу поддержат. Кроме того, я рассчитываю также на Провидение".

\* \* \*

Актуальность – это злободневность, которая на время ушла, потом вернулась, снова куда-то ушла и т.д. Мрожек актуален, как актуален Шекспир. Есть вещи, которые вечны, потому что повторяются. "Завтра – это сегодня, да только завтра" – так звучит один из грустных афоризмов Мрожека,

И еще один: "Человек на досуге думает себе о том и о сем, но все-таки чаще о том".

# "СПИДОЛА"

*Сташеку и Миреку*

*в 25-ю годовщину создания "Солидарности"*

"Спидола" – так назывался замечательный, пользовавшийся большим спросом портативный радиоприемник, который в СССР производили на экспорт. Стоил он относительно недорого, и некоторое время его можно было купить в государственных магазинах – разумеется, по знакомству или заплатив соответствующее вознаграждение продавцу. Главным достоинством "Спидолы" было то, что она обеспечивала более или менее чистый прием постоянно глушившихся передач Би-Би-Си, "Голоса Америки" и "Свободной Европы". По тем временам, да еще учитывая ее преимущества, "Спидола" была не так уж велика – она умещалась в небольшом портфеле или в наплечной сумке, благодаря чему мы могли брать ее с собой в отпуск. В тот год нашей базой было маленькое, всего в пять домов, селение на поляне, затерявшееся среди елово-пихтовых лесов в одной из укромных, проточенных рекой долин Татранского национального парка. От ближайшего магазина, куда два раза в неделю завозили хлеб, газетного киоска или хотя бы шоссе его отделял по меньшей мере час пути по одной из утомительных горных троп. Именно там нас (т.е. меня, жену и присоединившегося к нам в порядке исключения Адама Михника) застало то памятное лето 1980 года. Адама мы уговорили спрятаться там от преследований госбезопасности и заодно немного отдохнуть. О месте его пребывания не знал никто, кроме нас и, разумеется, гуралей, у которых мы жили. Позднее мы узнали, что его искали не только геэбисты, но и обеспокоенные друзья, причем обе стороны подозревали друг друга. Сообщение о загадочном исчезновении Михника передавали даже в западных новостях. Конечно, Михник не мог соблюсти закон о прописке, особенно строгий в приграничной полосе, и встать на учет в старостве, к которому было приписано селение. Мы объяснили нашим хозяевам, что тогда к ним явятся не только охранники из национального парка и пограничники, но и – может быть, в первую очередь – ГБ и милиция. А будет контроль – ну и пусть! Непрописанный всегда мог быть случайным гостем – только что приехал и уже уезжает. Соседей опасаться не приходилось: в приграничных селениях слабое зрение и слух были ценными, а может, и

необходимыми для выживания добродетелями. Видимо, всех тамошних жителей соединяла невидимая сеть связей и пограничных сделок, в которую дополнительно вплетались сложные отношения с национальным парком. Местные привыкли держать язык за зубами. Михник мог спокойно жить инкогнито в селении, где его называли просто Адам. Переутомленный и не привыкший к горному воздуху и прогулкам, он рано засыпал в своей комнатке на чердаке, тем самым компенсируя хронический недосып. Между тем именно поздними вечерами были лучше всего слышны западные радиостанции. В горах наша "Спидола" работала еще качественнее, чем в низинной Мазовии. В полуподвальной кухне стоящего на склоне горы дома мы вместе с хозяевами слушали последние известия. Больше всего новостей о том, что делалось в Польше, передавала "Свободная Европа". А новости эти были таковы, что мы ощутили необходимость во внутренней цензуре и наложили мораторий на передачу Михнику сведений о волне забастовок, которая охватила всю страну после того, как 1 июля было объявлено о повышении цен на мясо и мясопродукты. Бастовали уже не только отдельные предприятия, но и целые промышленные центры и даже города. Очередные уступки властей приводили к тому, что стоило кончиться одной забастовке, как в других местах тут же начинались новые. 20 июля в Люблине забастовка на одном из заводов переросла во всеобщую стачку.

Было ясно, что, узнав о происходящем, Михник немедленно вернется в Варшаву, где его снова настигнет гебуха. Я не хотел, чтобы он прерывал отдых – пожалуй, первый за многие годы. Не хотел я этого еще и потому, что не связывал с разыгравшимися событиями особых надежд. Коммунизм казался мне относительно прочной и, несмотря ни на что, устойчивой системой, опирающейся на военную мощь и всевластие полиции, системой, на страже которой как-никак стояла мировая сверхдержава. Двенадцатью годами раньше, в 1968 году, с той самой горной поляны я много дней бессильно наблюдал, как на юг, в Чехословакию, летит авиационная армада. После того как 14 августа на Гданьской судовой верфи началась итальянская забастовка, которая почти мгновенно перекинулась на другие верфи, порты, фабрики и даже городской транспорт, я ожидал скорее повторения кровавой расправы, учиненной в Гданьске и Гдыне в декабре 1970 года. У меня живо стояло перед глазами, как в ту морозную и снежную ночь, уже зная, что случилось в Гданьске, я шел мимо одного из варшавских рабочих общежитий, а из окон до меня доносились звуки шумной гулянки, звон рюмок, музыка и топот танцующих пар. Бессильное бешенство и слезы,



наворачивающиеся на глаза. Из-за всего этого я тем более не хотел передавать Михнику всё новые волнующие вести. А забастовка на Балтийском побережье продолжалась и разрасталась. 18 августа судоверфь выдвинула знаменитое 21 гданьское требование. В первом и главном из них речь шла о праве создавать независимые профсоюзы. Тем временем на поляне жизнь так и шла бы своим чередом, если б не какой-то продавец, завернувший две бутылки керосина в свежие газеты. Бутылки мы принесли в рюкзаке нашим хозяевам – керосиновые лампы были единственным видом освещения, применявшимся в селении. К несчастью, газеты эти попали в руки Михника. На следующий день он выехал в Варшаву, где, разумеется, был немедленно арестован. Мы с женой остались еще на несколько дней, так, чтобы успеть в школу на рутинное организационное собрание перед началом учебного года. Тогда мы и не подозревали, что это были последние наши каникулы в горах.

31 августа на Гданьской судоверфи было подписано двустороннее соглашение между Объединенным забастовочным комитетом и правительственной комиссией. В этом соглашении были такие слова: "Считаем целесообразным создание новых самоуправляющихся профессиональных союзов, которые были бы подлинными выразителями интересов трудящегося класса (...) Правительственная комиссия подтверждает, что правительство гарантирует и обеспечивает новым профессиональным союзам полное соблюдение независимости и самоуправляемости – как в их организационной структуре, так и в функционировании на всех уровнях". Случилось нечто неслыханное и невероятное! Власти коммунистического государства допустили существование независимой от них, самоуправляющейся общественной организации. Они гарантировали это! Называлось ли это профсоюзом или как-нибудь иначе, уже не имело значения. Важна была независимость от государства, а значит, и от партии, что означало подрыв монополии на власть. Трудно было поверить в эти слова. Весь прежний опыт, да и знакомство с фактами из более далекого прошлого верить не позволяли. Единственный вопрос звучал: сколько все это продлится и чем кончится?

Однако пока карнавал только начинался. 8 сентября, вскоре после начала учебного года, неожиданно состоялось собрание ячейки Союза польских учителей, членами которого в обязательном порядке были все работники школы. А причиной, как заявила в начале собрания многолетняя председательница ячейки, было то, что теперь настала такая мода: все

предъявляют властям требования. Значит, и мы должны подумать и выдвинуть какие-нибудь требования. Я тут же потребовал провести предварительное голосование о том, кто в новой ситуации останется членом СПУ, а кто хочет создать новый, независимый, самоуправляющийся профсоюз. Из 24 присутствовавших на собрании учителей, административных работников, уборщиц, кухарок и сторожей за новый профсоюз проголосовал 21 человек. Остальные трое (партийный директор школы, его заместитель и председательница ячейки СПУ) покинули собрание. Вскоре оказалось, что мы не были исключением. 10-11 сентября в Варшаве состоялся первый учредительный Всеобщий съезд делегатов Независимого самоуправляющегося профессионального союза работников науки, техники и образования (НСПС РНТиО). 9800 членов, основавших ячейки нового профсоюза в 127 институтах, прислали на съезд 286 делегатов. Первый плод соглашения, за которое боролись судостроители, созрел в течение каких-нибудь десяти дней. Между тем по всей стране бывшие забастовочные комитеты объединялись в межзаводские и преобразовывались в учредительные комитеты новых профсоюзов.

17 сентября делегация НСПС РНТиО из четырех человек участвовала в организованной на Гданьской судовой верфи встрече объединенных комитетов со всей страны. Прения были бурными. Лех Валенса противился созданию единого всепольского профсоюза, к чему стремились представители почти всех тридцати с лишним объединенных комитетов, за исключением гданьского. Гданьский комитет во главе с Валенсой выступал за профсоюзы регионального уровня. Когда, наконец, перевесило мнение большинства, оказалось, что выход из патовой ситуации отнюдь не найден. Возникли какие-то новые трудности. Шли закулисные консультации. После их завершения у советников были явно озабоченные лица. Они чего-то ждали. Я спросил у Бронислава Геремека и Тадеуша Мазовецкого, что происходит. Оказалось, что Валенса, согласившись на единый всепольский профсоюз, уперся, чтобы назвать его "Солидарность". По мнению советников, такое название годилось скорее для артели молочников или сапожников, так как в те времена провинциальные артели часто выбирали себе названия вроде "Будущего", "Зари" или "Рассвета". Многие боялись давать подобное название большому, всепольскому, только-только создающемуся профсоюзу. Дискуссии, беспокойство и ожидание затянулись до глубокой ночи. Когда наконец Валенса появился снова, в зале воцарилось напряженное молчание. Все ждали. После долгой паузы в полной тишине послышались его слова: "Объявляю о

создании единого независимого самоуправляющегося профессионального союза... – тут Лех остановился. Стояла тишина. Наконец он почти выкрикнул: – "Солидарность"!" Только тогда все грянули гимн: "Еще Польша не згинела..." Независимый самоуправляющийся профсоюз "Солидарность" стал действительностью.

13 октября на II Всеобщем съезде делегатов НСПС РНТиО 450 из 455 делегатов, представлявших уже 18 910 членов профсоюза из 199 институтов, проголосовали за вступление в НСПС "Солидарность". Один делегат голосовал против, а четверо воздержались. Вскоре "Солидарность" в своих рядах имела почти 10 миллионов человек, что составляло 80!% трудящихся.

Карнавал кончился меньше чем через полтора года. 13 декабря 1981 г. военное положение загнало "Солидарность" в подполье. Вновь сжала свои клешни цензура. С новыми силами заработали глушилки. "Спидолы" опять вернулись на почетное место. Впрочем, они негодились тем, кто был вынужден не только работать, но и жить в подполье. Для кочевой жизни они были слишком громоздкими и тяжелыми. Им на смену быстро пришли новые миниатюрные транзисторные приемники, контрабандой провозившиеся в Польшу с Запада. Однако "Спидолы" оказались незаменимы для тех, кто вел как бы двойную жизнь, сохраняя обычный ритм ежедневных занятий и в то же время работая для подполья. Со временем эти изношенные до предела, да к тому же еще и устаревшие приемники отказывали. Тогда их приводил в порядок неоценимый Сташек Русинек, член правления НСПС "Солидарность" Мазовии. Счастливо избежав интернирования, он занимался ремонтом теле- и радиотехники. Однако его главная заслуга заключалась в том, что он был незаменимым связным между подпольной "Солидарностью" и епископатом. Именно благодаря вмешательству епископата Мирека Одоровского, казначея Мазовецкого региона и рабочего уже не существующего электролампового завода им. Розы Люксембург, удалось вытащить из тюрьмы в Бялоленке и на "скорой помощи" привезти прямо на операционный стол. Впоследствии оба они окружали заботой семьи интернированных или скрывавшихся и работавших в подполье товарищей. С тех самых постепенно стирающихся в памяти времен к Сташеку приклеилось прозвище "Спидола". Сегодня "Спидола" получает пенсию по инвалидности и подрабатывает в качестве консьержа, а Мирек пополнил ряды безработных. Автору этих строк повезло: вместо того чтобы слушать "Свободную Европу", он пишет статьи для "Новой Польши".

## ПОЭТ ОБОИХ НАРОДОВ

После смерти Чеслава Милоша нашлись такие — немногочисленные, но заметные, — кто называл его поэтом недостаточно католическим и недостаточно польским. (Это, впрочем, были не первые нападки на Милоша: в 50-е гг. подобными выходками отличалась коммунистическая пропаганда.) Думаю, что поэт глядел на это с небес с усмешкой: он страшно любил провоцировать как тоталитаристов, так и националистов — и в конце концов всегда торжествовал над противниками. Он упокоился в краковском костеле «На Скалке», в национальном пантеоне. За несколько дней до похорон я был возле этого костела и видел жалкие горстки демонстрантов, размахивавших транспарантами, на которых были помещены вырванные из контекста цитаты из Милоша и самые разнообразные обвинения. Нарушить порядок во время погребального шествия они не осмелились.

Среди обвинений повторялось одно: Чеслав Милош вовсе не был поляком — он литвин (так в старину называли граждан Великого Княжества Литовского), то есть по определению не мог участвовать в создании польской культуры и, наоборот, ненавидел ее и вносил в нее враждебные ей элементы. Это утверждение повеселило бы поэта больше всего прочего, однако неожиданным для него не стало бы. Много лет назад он писал: «Среди поляков я не раз сталкивался с подозрительностью: якобы с моей польскостью не все в порядке. И должен признаться, что тень правоты в этом есть, хотя ребенком, еще в России, я декламировал: «Кто ты? Маленький поляк. Какой твой знак? Белый орел» [перевод хрестоматийного четверостишия — дословный]». Он был родом из мест, связанных с Польшей несколько сот лет, но к ней не принадлежащих. Из Литвы, удивительного государства, которое в Средние века было независимой полужыческой, полуправославной империей, позднее разделило польские судьбы, а в XX веке вновь обрело независимость — одновременно с Польшей и так же, как Польша, дважды. Независимость XX века оказалась совсем другой, нежели древняя: она опиралась на этнографический критерий, а это означало, что вместо державы, достигавшей Смоленска и побережья Черного моря, появилась маленькая, хотя и амбициозная прибалтийская республика, похожая на Латвию, Эстонию, отчасти на Финляндию. Своей столицей она считала

Вильнюс, прекрасный город, который был центром средневековой империи, но уже несколько веков говорил преимущественно по-польски и поэтому был присоединен к Польше. Результатом этого был длительный и острый конфликт, который многие годы выглядел таким же неразрешимым, как арабо-израильский конфликт из-за Иерусалима. Чеслав Милош был прежде всего поэтом Вильнюса, который он называл «безымянным городом», а вдобавок в споре о Вильнюсе он занимал особую позицию, и польские свехпатриоты автоматически зачисляли его в подозрительные. Литовцам тоже было не слишком ясно, кто такой этот странный виленский автор, потому что литовца ныне характеризует язык — трудный, для славянина совершенно непонятный, имеющий с польским ровно столько же общего, сколько гэльский с английским. Милош слышал этот язык в детстве, умел на нем читать, но никогда по-литовски не писал. Во всяком случае родился он в Литве и остался ей верен.

Для польского поэта это не было ничем исключительным, потому что литвином считал себя и Адам Мицкевич, занимающий в польской культуре XIX века место, близкое к тому, какое занял Милош в XX м. У лучших польских писателей было принято вести свой род из Литвы, как у английских — из Ирландии; это сравнение уже попало в общие места. Любой поляк (и любой литовец!) знает, что прославленная поэма Мицкевича «Пан Тадеуш» начинается словами «Отчизна милая, Литва!». Но это начало вдвое парадоксально, потому что Литва «Пана Тадеуша» — это сегодняшняя Белоруссия.

Милош, в отличие от Мицкевича, родом из исконной Литвы. Читая в детстве «Пана Тадеуша», он удивлялся, что там говорится о буках и борзых, которых в родном краю ему видеть не доводилось. Однако он был писателем пограничья культур, как и Мицкевич — а также Целан, Йетс, Итало Свево или Кавафис. Пограничье — это почва, порождающая конфликты, даже войны, в том числе и мировые, но несомненно плодотворная для таланта.

Милош родился в Шетейнах (Шетейняе), которым посвятил стихотворение, прочитанное в день его похорон перед костелом «На Скалке» сначала по-польски, потом по-литовски, потом на нескольких других языках:

Низко за деревьями сторона Реки, за мной и строеньями  
сторона Леса, направо сторона Святого Брода, налево — Кузни и Парома.

Где бы я ни странствовал, по каким бы континентам, всегда лицом был повернут к Реке.

Чуя аромат и вкус разгрызенной бело красной сочности аира.

Слыша старые языческие песни жнецов, возвращавшихся с поля, когда солнце погожих вечеров догасало за пригорками.

Река — это Невеж (по-польски — Невяжа, по-литовски — Невежис); Шетейняй расположен в самом центре нынешней Литвы, на границе двух ее частей — Жемайтии и Аукштайтии. Больше из них Аукштайтия, родовое гнездо древних литовских князей, откуда пошло начало государства. Жемайтия славится верностью древним обычаям и языку. Герб Аукштоты — литовская Погоня, всадник на коне, герб Жемайтии — Медведь; с жемайтским или литовским медведем Милош, кстати, любил себя сравнивать. Однажды я с ним разговаривал о прекрасной басне, которую написал во времена Мицкевича литовский поэт Симонас Станявичюс. В ней на берегу Невежа встречаются медведь и конь: один скован цепью, второй стреножен. Речь идет, разумеется, о царской России, угнетавшей Жемайтию и Аукштайтию так же, как и Польшу, и рухнувшей, когда Милошу было шесть лет. Окрестности Шетейняи были издавна заселены патриотической шляхтой и знаменитыми своим упорством крестьянами — и те и другие приняли активное участие в восстании 1863 года.

«Я выросал из предрассудков глухой провинции», — не без самоиронии сказал поэт в одном из своих последних интервью. Предрассудки предрассудками, но известно, что Милош был как мало кто другой погружен в свое место и время. Он обладал очень литовскими чертами, рождающимися в простом мире сельских добродетелей и повседневных работ: упорством, дисциплинированностью, внутренней силой. Разумеется, это скорее типично для всякого общества на схожей степени развития, но в Литве это было усилено — так или иначе, романы и эссе Милоша велят этому верить. Он всегда считал, что из детства и молодости в Литве вынес основы своего мировоззрения: специфический антитоталитарный консерватизм, отвержение нигилизма и этического релятивизма, поиски неизменной шкалы ценностей и постоянной точки отсчета, веру в разум, но и своеобразный пантеизм, глубокую жажду отдаваться природе и ее ритмам, понимание природы как потерянного рая, который, однако, можно вновь завоевать. Думаю, что литовский опыт оставил след и на отношении Милоша к языку — как явлению насквозь поэтическому и в то же время обеспечивающему личное и национальное самосознание. Прибавлю черту характера, о

которой говорится в «Долине Иссы», — «спокойствие и сдержанность в высказывании суждений о себе».

Как я уже упоминал, обретение Литвой и Польшей независимости породило антагонизм. Семья Милошей была вынуждена переселиться в Вильно, отделенное тогда от «Ковенской Литвы» (временным местопребыванием литовских властей был Каунас) чем-то вроде «железного занавеса» *avant la lettre*. Великолепная барочная столица бывшей литовской империи повлияла на развитие поэта, пожалуй, еще больше, чем родные сельские места. Она хранила память о богословских диспутах XVII века, о спорах романтизма и Просвещения. Хотя теперь она лежала на окраине польского государства и была довольно запущенной провинцией, здесь не было недостатка в необычайных людях, связанных главным образом с Виленским университетом, который некогда окончил Мицкевич. Здесь скрещивались языки, нравы, эры; кроме польской среды существовала литовская, белорусская, еврейская. От Вильна Милош, как он признавался в стихах, никогда не сумел отойти. «Это магический, магический город», — сказал он в последние недели жизни своему лечащему врачу.

Уже в гимназии он познал невероятную гетерогенность этого города. В одном из поздних эссе он вспоминал странные фамилии своих школьных товарищей: Альхимович, Блинструб, Бобкис, Больбот, Волейко, Дабкус, Мейер, Мейштович, Микутович, Мирза-Мурзич, Сволкень, Семашко, Чеби-Оглы. Это были, как правило, не польские фамилии — белорусские, литовские, довольно часто татарские, иногда немецкие или даже датские (еврейских не было, так как евреи обычно ходили в свои школы). Гимназия носила имя Сигизмунда Августа, короля польского и великого князя литовского XVI века, родом литовца, но языка своих предков уже не знавшего. Неподалеку находилась другая гимназия — имени Витовта Великого: этот старший родич Сигизмунда Августа в свою очередь символизировал литовский сепаратизм и любовь к родному языку, и школа готовила кадры для будущего литовского Вильнюса, остававшегося в сфере мечтаний. Власти делали все, что могли, чтобы связать город с Польшей, не останавливаясь перед репрессиями против литовцев и белорусов. Большинство польского населения разделяло национальную идеологию. «Мыслящие единицы были скорее немногочисленны — хотя весьма любопытны и ценны, энергичны», — писал Милош в 1978 году. Так называемые «краёвцы»: Людвик Абрамович, Михал Ремер и другие — еще до I Мировой войны мечтали о воскрешении бывшей Литвы, то есть балто-славянского Великого Княжества, вероятно, в федерации с Польшей, но

сохраняющего свой национальный облик и своеобразный характер. Группа «краёвцев» во времена Милоша не лишена была влияния — в этом ее поддерживала местная традиция, согласно которой граждан Великого Княжества считали духовно богаче, чем жителей «Короны» — Варшавы или Кракова. Не забудем, что из Великого Княжества были родом, то есть считали себя литвинами, Адам Мицкевич и воскресивший независимую Польшу Юзеф Пилсудский.

Провинциальный застой бывает чреват бунтом. Гимназистом, а потом студентом Чеслав Милош оказался в оппозиции к большинству. Бунт проявился в том, что он стал наследником идей «краёвцев». Любовь к Литве, как у Мицкевича и Пилсудского, не противоречила у него любви к Польше. Отсюда возникала мечта о новаторском решении виленского вопроса. В 22 года он опубликовал в журнале молодых литераторов «Жагары» эссе, где писал о своем городе с едкой иронией, но серьезно:

«Вильно, прекрасный и мрачный северный город. В окно видна мостовая в ухабах, лужи и кучи навоза. Дальше выщербленная стена и деревянные изгороди. В центре города собаки грызутся посреди улицы, и ни одна машина их не спугнет. Бедная столица! Не смешон ли спор из-за этих запутанных переулков еврейского гетто? Из-за развалин княжеского замка? Из-за нескольких нищих поветов, население которых растит лен на бесплодных песках и вместо махорки курит вишневые листья, а вместо спичек у них кресало?»

Милош предлагал — особенно ввиду угрозы со стороны гитлеровской Германии — компромисс, польско-литовское сближение, переход к такому положению, когда Польша перестала бы рассматривать Вильно как исключительно свое, а потерю города не считала бы неисцелимым ущербом. Это привело лишь к конфискации номера «Жагаров» и открытию следственного дела — правда, закрытого прокурором.

«Жагары», выходившие в Вильне в 1931–1934 гг., название получили от местного литовского слова, означающего хворост или сухие ветви. Милош, имя которого навсегда осталось связано с этим журналом, печатал там, в частности, переводы из литовской литературы и эссе о ней. Ему помогал в этом Пранас Анцявичюс, он же Францишек Анцевич, молодой публицист, эмигрант из «Ковенской Литвы». Всю жизнь Милош считал его одним из своих учителей. Поэтом, которого переводил и высоко ценил Милош — а также и Анцевич, — был Казис Борута, анархистствующий литовский левак, позднее гулаговский зэк.



Нельзя пройти мимо еще одного имени: в то время на польского поэта повлиял дальний родственник Оскар Милош, которого литовцы называют Оскарас Милашюс. Это был человек совершенно иного рода, нежели Анцевич и Борута. Польский аристократ, родившийся в Белоруссии от матери-еврейки, как будто воплощал сложность тамошней истории и этнических отношений. Он выбрал Литву, стал дипломатом литовского государства и боролся за Вильнюс на международной арене, по каковой причине многие поляки считали его предателем; он так никогда и не выучил языка своей приемной родины, зато писал стихи по-французски, сначала декадентские (он дружил с Оскаром Уайльдом), потом метафизические, совершенно оригинальные, недалекие от пророчествования. Жил он в Париже, где принимал молодого Чеслава в литовском посольстве. Этот искатель тайного смысла вещей и истории, космополит, которого литовцы считали и по-прежнему считают своим, был для своего родственника кем-то вроде духовного учителя. Оскар Милош стал героем одной из последних поэм Чеслава, озаглавленной «Подмастерье» (заглавие, разумеется, относится к младшему поэту). Он повлиял на все его творчество, вращающееся вокруг тем катастрофы, искупления и великого преображения.

В Каунасе, куда Милош ненадолго попал в начале II Мировой войны, он нашел еще одного литовского друга — Юозаса Келюотиса, редактора авангардного журнала «Науйои Ромува» [«Новая Ромува» — по названию легендарного главного языческого капища в Литве], который печатал переводы из Джойса и Кафки (и из Оскара Милоша) и прививал в Литве европейские, главным образом французские, философские течения. После войны Келюотис прошел сталинские лагеря, как и Борута, хотя они были людьми с совершенно разной политической ориентацией.

Все эти знакомства и влияния действовали в одном направлении: учили, что какой бы то ни было этноцентризм (будь то польский или литовский) недопустим, что всякую проблему, в том числе и проблему Вильны/Вильнюса, следует рассматривать с нескольких равноценных точек зрения. Размышления о судьбах Вильнюса привели Милоша спустя многие годы к сжатой формулировке: «Всякий желающий добра этому городу должен желать, чтобы он был столицей — что автоматически снимает любые польские притязания на «польское Вильно»». В эмиграции, а потом и в Польше он нашел людей, мысливших подобно, прежде всего Ежи Гедройца. В конце концов они и нашли решение проблемы

«литовского Иерусалима», ибо политики пошли по уже протоптанной ими тропе.

Милош был вынужден покинуть Вильнюс в 1940 г., когда туда въехали сталинские танки. Вернулся он через 52 года, о чем написал замечательный поэтический цикл, — когда Вильнюс снова впервые с XVIII века или даже со времен Средневековья стал столицей независимой страны. Тогда Милош уже был одним из самых знаменитых в мире поэтов, нобелевским лауреатом. Он принадлежал к тем, кого эмиграция не сломила: писал непрерывно, и чаще всего — на темы, связанные с Литвой и ее столицей. Сгущенные, полные отступлений, визионерские стихи Милоша создали мифологизированный образ отчизны, который в сознании сегодняшнего читателя стоит рядом с образом Литвы у Мицкевича, хотя построен совершенно иначе, по принципу коллажа. В «Порабощенном уме» Милош одним из немногих говорил о трагедии прибалтов. Стране детства и молодости он посвятил книги с красноречивыми заглавиями — «Родная Европа», «Начиная с моих улиц», «Поиски отчизны». Он говаривал, что пишет в пустоте, практически без читателей, и кладет рукописи в дупло (что в XIX веке считалось старолитовской традицией). Это было не совсем так. То, что он писал, вскоре начало проникать в Польшу и даже в оккупированную Советским Союзом Литву.

Тут я позволю себе личные воспоминания. Впервые я прочитал несколько стихотворений Милоша в довольно неудачных литовских переводах в уже упомянутом журнале «Наујои Ромува». Подшивки журнала лежали в спецхране, но у моего отца сохранился один из редких комплектов. Потом мне в руки попала «Родная Европа», присланная в Вильнюс невероятным способом: целую книгу пересылали в письмах по листику, страницу за страницей, — две страницы так и не дошли. Когда в период некоторой либерализации я получил разрешение ненадолго поехать в Польшу, я использовал это время — в домах Яна Блонского и Виктора Ворошильского — для лихорадочного чтения недозволенных текстов, прежде всего Милоша. Поэтому кое-что я о нем уже знал той весной, когда Иосиф Бродский был вынужден эмигрировать и я отправился в Петербург (тогда еще Ленинград) попрощаться с ним. На прощальном обеде, изобиловавшем выпивкой, Бродский спросил, кто, на мой взгляд, лучший польский поэт — Збигнев Херберт? Я ответил: конечно, но еще есть Милош. «А на кого этот Милош похож?» — «Ну прежде всего на себя самого, но чуточку, может, на Одена, чуточку на тебя, Иосиф». — «Если так, то, наверно, хороший поэт». Бродский уехал в США, зная о Милоше всего лишь столько, но вскоре встретился с ним и

подружился, что принесло прекрасные плоды. Оба были влюблены в Литву, которая в каком-то смысле их связала.

Интерес Милоша к литовским делам имел для меня некоторые результаты. Кажется, в 1973 г. я получил из Варшавы письмо от Виктора Ворошильского, который сообщал, что прочитал мое стихотворение «Зимний разговор» в переводе великого поэта. Я ответил, что, вероятно, знаю, кто переводчик, потому что великих поэтов у нас не так уж много, но хотел бы услышать, где перевод появился — не в некоем ли культурном городе (я имел в виду, разумеется, Париж и парижскую «Культуру»)? Ворошильский подтвердил мои предположения, а вскоре тайными путями добрался до меня этот номер «Культуры», так что я почувствовал себя посвященным в рыцари. Когда четыре года спустя я очутился в эмиграции, не кто иной как Чеслав Милош помог мне больше всех, и не только советами, но и самым фактом своего существования. Он был живым доказательством того, что эмиграция не обязательно означает проигрыш. У меня было впечатление, что он относился ко мне с симпатией, хотя и с несколько отцовской иронией. Мы всегда много говорили о Вильнюсе и нашей общей «альма матер». Я привез ему некоторые сведения о его давних литовских друзьях, потому что лично знал и Боруту, которого сталинские тюрьмы закалили, и Келюотиса, которого они, к сожалению, сокрушили. (Анцевича я никогда не встречал, но его хорошо знал мой отец.) Так много лет спустя связались нити памяти, подтверждая правило о том, что в культуре, как и в природе, ничто не исчезает. Я знал также окрестности Шетейняй, хотя и не сам Шетейняй. Разговоры об этом нашли отголосок в поэме «Особая тетрадь: Звезда Полюнь»:

*Когда Томас привез известие, что дома, где я родился, нету,*

*Ни аллея, ни сбегавшего к берегу парка, ничего,*

*Мне приснился сон возврата. Счастливый. Яркий. И я летал.*

*Деревья были даже выше, чем в детстве, они выросли за то время,  
что уж не было их.*

Он увидел Шетейняй отстроенным — теперь там Центр имени Чеслава Милоша. Стал доктором *honoris causa* Каунасского университета им. Витовта Великого, ректором которого когда-то был «краёвец» Михал Ремер, к которому Милош питал восхищение. В Вильнюсе он снова встретил Бродского, участвуя вместе с Виславой Шимборской и Гюнтером Грассом в открытии мемориальной доски русскому поэту, и при случае привел слова Иосифа: «Литовцы — это самая хорошая нация в

империи» [по-русски в тексте]. Его издавали на бесчисленных языках, но литовские переводы интересовали его, быть может, больше всего: иногда они попадали в печать раньше, чем польские оригиналы. Он получил почетное гражданство Литвы, что только подтвердило его статус Поэта Обоих Народов — тот же статус, которым обладал Адам Мицкевич. Так дополнилась литовская глава великой жизни.

Год назад мы сидели с Шеймусом Хини в краковской квартире Милоша перед бюстом Эвридики — второй жены поэта, безвременно скончавшейся Кэрол. Милош сказал тогда — наполовину, пожалуй, в шутку, — что только литовец сумеет написать его полную биографию. Труд биографа мне не надлежит — вместо биографии Милоша я могу предложить лишь эту горстку воспоминаний. Но не исключаю, что это предсказание когда-нибудь сбудется.

# ЧЕЛОВЕК С ГОР НА РАВНИНЕ

Михал Ягелло – директор польской Национальной библиотеки, председатель Всепольского библиотечного совета.

\*

*— Окончив отделение польского языка и литературы краковского Ягеллонского университета, вы уехали в Татры, став альпинистом и спасателем Добровольной горноспасательной службы (ДГСС). Чему вас научили горы?*

— Меня горы выбрали сами, когда мне было всего восемь лет. Во время школьной экскурсии в королевский замок «Пескова Скала», я внезапно увидел настоящие голые известняковые скалы. Это стало для меня таким потрясением, что я вернулся домой другим человеком и начал искать книги о горах. Потом, уже в средней школе в Прошовицах под Краковом, моим классным руководителем стал прекрасный знаток гор — Бескидских, Свентокшиских и Татр. Он устраивал походы и водил нас в них так умно, что это оказывался не просто туризм, а одновременно урок литературы и истории. Мы посещали усадьбу Генрика Сенкевича или пушу, описанную Стефаном Жеромским. А в Татры я попал в 17 летнем возрасте, со своим преподавателем польского языка и литературы, который дружил с Марией Каспрович, второй женой поэта Яна Каспровича. Благодаря нему и я подружился с пани Марусей и ее сестрой. Позднее, уже живя в Закопане, я бывал у них в доме. Я говорю об этом, потому что уже с самого начала горы были для меня пространством свободы, культуры и моей личной, вполне светской метафизики, то есть экзистенциальным пространством, которое проникло в меня так глубоко, что, уже став студентом-филологом, я сразу же связался с альпинистами и спелеологами и начал довольно интенсивно подниматься в горы и спускаться в пещеры. В 1962 г. я стал сотрудничать с Добровольной горноспасательной службой (ДГСС). Там я выполнял самые различные функции — например, был представителем по связям с прессой, — но, что было самым главным, мог участвовать в спасательных мероприятиях и довольно быстро начал писать о горноспасателях — в профессиональном ежегоднике «Вершины» и в ежемесячном журнале «Альпинист». В то же время я непрерывно продолжал совершать восхождения. В 1967 г. на Кавказе мне пришлось пережить чрезвычайно драматические минуты. Я едва не остался навсегда на

вертикальной стене Накра-тау, между Эльбрусом и Ушбой. И все равно это никак не уменьшило моего влечения к горам. В начале 70-х я стал руководителем ДГСС в Татрах. Впоследствии я переехал в Варшаву, но все равно остаюсь человеком, который не может прожить без гор.

*— В своей книге «Призыв в горах» вы написали: «Человек, идущий в горы, начинает с ними игру». Вы все время вели эту игру?*

— До сих пор в горах я чувствую себя дома больше, чем где бы то ни было, — и особенно свободным. Они заменяют мне религию. Однако с точки зрения человека верующего я неверующий.

*— Но ведь это чистой воды пантеизм.*

— Вне всякого сомнения. Я стараюсь жить так, чтобы без стыда смотреть людям в глаза. Я руководствуюсь тем, что когда-то называли системой героических светских моральных заповедей. Мои связи с институционализированной Церковью довольно запутаны, и именно отсюда появились горы, прежде всего — спасение людей в горах. Сам альпинизм — это психофизиологический феномен, а спасение в горах — это своего рода священнодействие. Обряд на границе физики и метафизики.

*— Пригодился ли вам этот опыт в жизни на равнине?*

— Наверняка. Я в детстве и ранней молодости был таким впечатлительным существом, что какое-то одно не слишком доброжелательное слово меня глубоко ранило. Это было настолько сильно, что начало мешать мне нормально жить. А спортивный альпинизм и горноспасательная деятельность, имеющие много общего с мазохизмом и каторжным трудом, выработали во мне твердость, сопротивляемость жизненным невзгодам, одновременно взаимодействуя с той же впечатлительностью, которая никуда не девалась. В молодом возрасте, будучи начальником ДГСС, я отвечал за жизнь как попавших в беду, так и спасателей. Я был вынужден принимать драматические решения, например когда нужно прекратить поиски, потому что разыскиваемого спасти уже не удастся, а я могу потерять своих людей.

Что касается ситуаций более обыденных, то если бы не самодисциплина, выработанная в горах, я не был бы в состоянии в течение тех восьми лет, когда я был заместителем министра культуры, написать столько книг. А писал я их в министерской машине с шофером, вставая рано утром и

направляясь куда-нибудь в командировку. Требуется определенного искусства и руководство Национальной библиотекой, где трудятся около тысячи человек, среди которых нередко встречаются сильные личности, специалисты высшей квалификации, скрытные, не любящие давать интервью и выступать по телевидению. И здесь мне на помощь приходит опыт, приобретенный в горах. Хотя бы для того, чтобы создавать условия для участия в совместной работе и для принятия на себя ответственности за нее, и в то же время знать, когда заканчивать бесплодные прения и принимать окончательное решение.

— В 1966 г. вы вступили в ПОРП. Это произошло ровно через 10 лет после памятного «польского октября», когда столько членов партии выбросили свои партбилеты. В том же самом 1966 г. началось известное «дело Колаковского». Крупнейший философ и историк после своего выступления на юбилейном собрании на историческом факультете Варшавского университета, посвященном годовщине «польского октября», был исключен из партии. Группа выдающихся писателей в знак протеста покинула партийные ряды. Чем же вы лично руководствовались в своем решении о вступлении в партию?

— Я уже много раз «исповедовался» на эту тему публично, без утайки. Это было сознательное решение, принятое мною после длительных споров с самим собой и разговоров с друзьями. Причиной стала ситуация, восходящая к 1963 г., когда, еще будучи студентом, я получил рекомендацию Союза польских студентов для поездки в Альпы. Для начинающего альпиниста открывался огромный мир. Я приехал с вещами на вокзал в Варшаве, где мне сообщили, что в выдаче заграничного паспорта мне отказано. На вопрос «почему?» я получил ответ: «По важным государственным соображениям». Когда передо мной открылась возможность работать в ДГСС, я оказался перед перспективой никогда не покинуть пределов Татр. Поэтому вполне цинично и оппортунистически, признаюсь в этом, я подал заявление в партию. И действительно, благодаря этому мне выдали заграничный паспорт, и я смог поехать в горы Шотландии, а затем — в Турцию. С этого момента и вплоть до военного положения мне никогда не отказывали в выезде за границу.

Человек — это животное, необычайно способное к самообману. Так и я под это решение подвел идеологическую базу. Я знал из родительского дома, что такое Польская рабочая партия, позднее получившая название Коммунистической партии Польши, я знал о Катыни, но в то же время я был воспитан на

пограничье российской и австро-венгерской частей Польши, где приличествовало элементарное уважение к государственной власти. Даже мои родители (да и деды и бабки) — крестьянская католическая семья, не националистическая, а по сравнению с другими крестьянскими семьями довольно открытая, — относились к ПНР непросто. Несмотря на то что от земельной реформы они не получили ни одного квадратного метра земли, они считали ее своего рода торжеством исторической справедливости. С одной стороны, они поносили «безбожный» режим, а с другой — одобряли возможность продвижения по социальной лестнице многих представителей общественных низов.

В университете мы с приятелями вели бесконечные, как выразился поэт, «ночные беседы и жаркие споры». Я относился к ним с уважением, а они как раз тогда вступали в партию. На мои вопросы ответ был один: «Потому что этот строй нас всех переживет. Надо принимать его как историческую неизбежность, полной независимости мы все равно не добьемся. А если так сложилось, то почему нами должны править идиоты? Подумай, если группа образованных молодых людей, не думающая исключительно о собственной выгоде, начнет что-то менять в партии изнутри...» Я принял их аргументацию и сам стал так думать. Мне казалось, что у меня настолько прочный моральный костяк, что меня-то не сломают. Я никогда не произнес: «Для партии я готов на все». В 1968 г., в момент вторжения в Чехословакию, я заявил на собрании, что это позор для социалистического движения! Уже после событий на Балтийском побережье 1970 го, выступая в Закопане, я публично сказал, что если когда-нибудь еще будут стрелять в людей, то я ни минуты в партии не останусь.

*— Как получилось, что вас назначили заместителем заведующего отделом культуры ЦК ПОРП?*

— После августовских забастовок 1980 г. и возникновения «Солидарности» я с самого начала был уверен, что все это не просто возня из-за поллитры и куска колбасы. Уже на второй день к забастовке присоединился и мой ближайший партнер по Кавказу Ежи Милевский, выдающийся физик. Ежи был со мной в постоянном контакте и рассказывал о харизматическом электрике по имени Лех Валенса. Благодаря этому я с самого начала осознавал, что все это очень серьезно — такое сочетание национально-освободительного восстания с социальным движением. «Мы за социализм, но против его извращений». Я был этим совершенно заворожен, но в то же время боялся: я знал из истории, что у каждой революционной ситуации есть



своя внутренняя динамика. Я тогда работал на телевидении, и, к моему изумлению, мне предложили занять высокую должность в ЦК. После непродолжительного размышления я это предложение принял. Мое имя всплыло, по всей вероятности, потому, что первым секретарем ЦК был избран Станислав Каня, который искал возможности укомплектовать свою «команду». Из Мексики он вызвал Юзефа Клясу, бывшего первого секретаря партии в Кракове, с которым я тоже был связан, так как он много помогал Горноспасательной службе. Знал он и мои взгляды. Он был поставлен на ключевой пост заведующего отделом печати, радио и телевидения. А обо мне подумали, вероятно, потому, что был нужен человек партийный и в то же время пользующийся определенным авторитетом среди деятелей культуры. Я выпускал передачу «Студия фактов и сенсаций», и у меня были контакты со средним и молодым поколением режиссеров. Я решил, что раз уж началось что-то настоящее, то движение «Солидарность» становится необычайно важным и нужно делать все что угодно, чтобы его сохранить. А поскольку геополитическая ситуация не меняется, то единственным шансом остается укрепление немногочисленного, но существующего в ПОРП либерального течения. То есть пытаться объединить между собой умеренных деятелей с той и другой стороны. Так я тогда рассуждал.

**— В качестве члена ЦК вы в то время ездили в Москву. Как Кремль реагировал на то, что происходило в Польше?**

— В 1981 г. я был в Москве дважды. Первый раз — в момент быдгощского конфликта, второй — во время кинофестиваля, летом. Поскольку Каня не использовал против «Солидарности» вооруженную силу, его контакты с руководством в Москве все время ухудшались. В Москву отправилась делегация отдела культуры ЦК, что рассматривалось как определенный успех — вот, все-таки кто-то согласен нас принять. Это пребывание стало для меня потрясением. Во-первых, я осознал, насколько нас принимают всерьез. Нам показали зал, где около 60 человек изучали разные малотиражные публикации, издаваемые «Солидарностью». Я заглянул через плечо одного из читающих и увидел у него в руках листовку, изданную на Щецинской судоверфи всего тремя днями раньше. Переговоры у нас шли трудно. Самой важной персоной, до которой нам удалось добраться, был секретарь ЦК КПСС Зимянин, который рассердился, услышав, что мы осмеливаемся утверждать, что в Польше происходит просто попытка реформировать систему. «Это контрреволюция, — говорил он. — Но мы вас в беде не оставим». Один из представителей Кремля мимоходом

сообщил, что если будет нужно, то они вывезут сюда мою жену и двух дочек. Меня как громом поразило. Во время последней беседы я осмелился утверждать, что никакая это не контрреволюция. Мы высоко ценим русскую культуру, наши работники культуры хотят смягчения цензуры, потому что это их очевидное желание. Он не выдержал, ударил кулаком по столу и крикнул: «Тут вам не Ваньки сидят, а представители великого народа!» Когда мы прощались, он попросил передать привет в первую очередь товарищу Ярузельскому... ну и товарищу Кане. Я уже не сомневался, что это должно было означать.

Но зато другой приезд был очень интересным. Хотя на нас старались повлиять все, от гостиничных дежурных по этажу до министра кинематографии, которые, как заклинание, повторяли: «Мы вас в беде не оставим», — но один из людей, занимавших в ЦК КПСС примерно ту же должность, что и я, взял меня на прогулку по набережной и сказал: «Запомни, мы вам никогда не простим, мы, то есть русская интеллигенция, — он использовал именно это определение, — если вы, активисты ПОРП, утратите связь с творческими работниками, с польской интеллигенцией». — «Почему?» — воскликнул я. — «Как это почему? Между Западом и Россией лежит Польша. В Россию с Запада доходят все течения, но уже немножко полонизированные, профильтрованные, благодаря чему русским их легче принять». А ведь этот человек, говоря мне нечто подобное, многим рисковал. Именно поэтому, когда появился Горбачев, я не был удивлен, так как уже знал, что в России есть такие люди. Впрочем, мой собеседник, петербургский интеллигент, появился в окружении Горбачева.

**— В день объявления военного положения вы вышли из здания ЦК — и из партии. Вам это все опостылело?**

— Быть может, это прозвучит не очень красиво, но объявление военного положения помогло мне решить несколько стоящих передо мной дилемм. Уже после первого посещения Москвы я был уверен, что у нас ничего не выйдет, потому что если бы партия договорилась с «Солидарностью», то для Кремля это было бы слишком опасно. Однако я решил, что раз уж я нахожусь в этом здании, то буду создавать в области культуры как можно больше совершившихся фактов. Членом политбюро и секретарем ЦК был избран мой бывший шеф из краковского Союза польских студентов Хиероним Кубяк, который считал, что нужно пытаться идти до конца. Своей задачей мы считали убеждать творческих работников, чтобы они, независимо от того, что думают, не говорили этого вслух, ибо мы не можем

дать русским никакого предлога для вмешательства. Люди взволнованно и серьезно смотрели фильм Анджея Вайды «Человек из железа» — и не было никаких скандалов, восклицаний, призывов, которых все боялись. Ежи Анджеевский согласился стать председателем жюри Всепольского кинофестиваля в Гдыне. Это означало, что художники, творческие работники не бойкотируют официальные мероприятия, что они тоже ведут определенную игру. Я принадлежал к кругу людей, которые пытались сделать что-то осмысленное: копия «Человека из железа» попала на Каннский фестиваль (где фильм получил главную премию — «Золотую ветвь»), шли съемки «Допроса» Рышарда Бугайского и «Озноба» Войцеха Марчевского. На экраны вышел фильм Януша Заорского «Мать Королей», на Берлинский фестиваль поехала «Горячка» Агнешки Холланд. В кинотеатрах на закрытых сеансах (в газетах сообщали, что сеанс предназначен для работников некоего предприятия, что уже было забавно) показывали документальный фильм Анджея Ходаковского и Анджея Зайончковского «Рабочие-1980», посвященный августовским забастовкам.

Ситуация была революционная, аппарат ЦК полностью разрегулировался. Благодаря этому я мог позволять себе делать то, что в обычное время было бы невозможно. В подобных мероприятиях я шел до конца, потому что знал, что все равно долго в ЦК не останусь. Если бы я не был психически подготовлен к уходу со всех своих постов и из самой партии, то по крайней мере о половине того, что мне удалось сделать, я даже подумать бы не осмелился.

Наконец пришел момент, когда я сказал сам себе: хватит. Я был убежден, что русские нападут на нас. Для этого им не надо было даже переходить границу: здесь на базах их было достаточно. 13 декабря 1981 г. я вышел из здания ЦК. Официально из партии меня выгнали через три месяца. Танки на улицах; неизвестно, сколько это все продлится. У меня дома начала собираться интеллигенция. Один из знакомых, ссылаясь на премьер-министра Мечислава Раковского, предупредил, что за мной следят и дело может кончиться арестом. Оказалось, что я был самым крупным по занимаемой должности сотрудником аппарата ЦК, который сделал то, что сделал я. К тому же наделали шуму и международные СМИ — радио «Свободная Европа», «Голос Америки», газета «Вашингтон пост». От друзей с Запада начали приходить телеграммы с поздравлениями. Хиерониму Кубяку удалось выхлопотать для меня специальное разрешение, благодаря которому я вместе с семьей смог уехать в Закопане.

— Вы впоследствии вспоминали, что страшно боялись, что прольется кровь, и что этого не произошло, потому что поляки слишком хорошо помнили ужасы Варшавского восстания. А на самом деле, быть может, мы были просто предтечами того процесса, который мы все время наблюдаем у наших соседей — процесса мирного решения проблем, начиная с разрушения Берлинской стены, «бархатной революции» в Чехословакии и, наконец, «оранжевой революции» на Украине?

— *Но, с другой стороны, если бы не Варшавское восстание, не горький опыт Будапешта и Пражской Весны, может быть, история развивалась бы иначе?*

Анджей Василевский, директор и главный редактор Госиздата (ПИВ), занимающий высокое положение активист ПОРП, издавал книги, которые «де-факто» подрывали реальный социализм. Он нашел для этого свой способ — публиковал соответствующее предисловие в качестве защитного «зонтика». И вот этот самый Анджей был так потрясен тем, что я делаю в ЦК, что после своего возвращения из Москвы провел со мной принципиальный разговор. «Что ты делаешь?! — кричал он. — Это кончится хуже, чем в Чехословакии, где профессора становились кочегарами в котельных!» Часть людей из ПОРП потому вела себя так пугливо, что у них были свои травмы и шрамы. Но вы правы, в принципе это был единый процесс. Я думаю, что «круглый стол» был огромным успехом поляков. За это стоило заплатить цену «моральной расплывчатости», отказа от проведения радикальной декоммунизации. В 1989–1997 гг. я был заместителем министра культуры; я провел сотни часов на ночных заседаниях правительства Тадеуша Мазовецкого. Заместителем премьер-министра и главой МВД (куда входила госбезопасность) оставался генерал Кищак, министром обороны — генерал Сивицкий, и если бы господин Мазовецкий говорил им время от времени «долой коммуны!», то что бы это изменило? Вели бы они себя так же спокойно? А эти два генерала были вполне лояльны по отношению к премьеру.

— *Во время военного положения вы стали секретарем редакции издания польских иезуитов «Пшеглэнд повшехный» и начали писать книгу, полный текст которой был опубликован только в 2001 году: «Попытка диалога. Заметки о гуманистическом католицизме и «Тыгоднике повшехном»: 1945–1953». Кто был вашим предполагаемым собеседником?*

— Я написал текст под названием «Попытка диалога», опубликованный в четырех частях в «Пшегленде повшехном». Это была статья, где цитировались тексты иезуитов,

публиковавшиеся в период между двумя мировыми войнами, но также и тексты о польском социалистическом движении. И вот в какой-то момент я пришел к выводу, что это заглавие может стать названием целой книги. Дело в том, что меня интересует так называемое открытое католичество, то есть лишенное ксенофобии, верное католическому вероучению, но уважающее другие религии и вероисповедания, стремящееся сочетать веру с разумом, а религию как универсальную ценность — с ценностями, живущими в польском народе. Это была попытка найти точку соприкосновения между этими противоположностями. Меня лично заинтриговал тот факт, что польские иезуиты сумели провести различие между польским вариантом социализма, связанным с борьбой за независимость, и другими видами социализма. Я полагаю, что существовала возможность сближения этого «открытого» течения в польском католичестве, которое я называю гуманистическим, с социализмом, так как его представляли приверженцы так называемого католического социального учения. А размышления христианских философов над отношениями «труд и капитал», «наемный работник и его начальник» действительно интересны. Правду говоря, даже Папа Иоанн Павел II питал иллюзии, что существует некий третий путь в экономической жизни. С возрастом он все острее критиковал западную цивилизацию, рыночную экономику, вступив тем самым на старую истоптанную дорожку Церкви, которая ведет свое начало от великой социальной энциклики Папы Льва XIII «*Rerum novarum*» [«О новых вещах», 1891]. На самом же деле есть экономика либо рыночная, либо плановая, а третьего пути просто нет. Но зато хорошо, что существуют моральные раздумья и мысли по поводу рыночной экономики — они-то для меня и есть католическое социальное учение. Я сожалею, что в межвоенный период не возникло более или менее глубокого интеллектуального диалога между частью католиков и частью социалистов из Польской социалистической партии (ППС). У обеих сторон были свои обиды и травмы. Но если покопаться в лозунгах социализма, то мы найдем там призывы Иисуса из Нагорной проповеди — быть солидарными, делиться имуществом и т.п. Однако церковная иерархия относилась к социалистам с подозрением. Дело в том, что эта иерархия редко когда замечала различия между социализмом в духе независимости и социализмом, уже весьма близким к коммунизму. Она исходила из принципа, что в трудных ситуациях социалист всегда поддержит коммуниста и большевика. Что, разумеется, абсолютная неправда! Когда Польша и вся Европа нуждалась в серьезном интеллектуальном диалоге, в польской Церкви все явственнее выходило на первый план националистическое течение, характеризующееся

маниакальной подозрительностью по отношению к каждому, кто хоть чуть-чуть левее центра. Случалось, что даже Союзу всепольской молодежи, который без зазрения совести злоупотреблял именем Божиим, епископы многое прощали. Прощали, потому что те были — свои. После войны, к сожалению, верх одержала коммунистическая линия ППР, а не ППС. Идеи, характерные для социализма в духе независимости — а фактически для социал-демократии, — не исчезли безвозвратно. Я знаю это по себе. Будучи членом ПОРП, я носил в себе определенные идеи ППС, которые вычитал у Станислава Бжозовского, Эдварда Абрамовского, а потом — у моего друга Яна Стшелецкого.

*— В «Попытке диалога» вы пишете: «Благодаря этой книге я убедился, что я — персоналист». Но в каком качестве — как католик или как социалист?*

— Я по-прежнему связан с «Пшеглёндом повшехным» и являюсь членом программного совета этого ежемесячника. Я агностик, но во мне сидит «homo religiosus», тот самый «человек с гор» в непрестанных поисках светской литургии. Я думаю, что какой-то вид религиозности генетически вписан в вид Homo sapiens, и это оберегает меня от крайних форм атеизма. Я счастлив, что дружу с такими мудрыми людьми, как двое выдающихся иезуитов: с отцом Станиславом Опелей — философом, основателем теперешнего издания «Пшеглёнда повшехного» и отцом Вацлавом Ошайцей — прекрасным поэтом, его главным редактором. Несмотря на очевидные различия, есть множество вещей, которые нас объединяют.

*— В части, посвященной открытому католицизму 30-х годов прошлого века, вы пишете о борьбе интегралистов с интегритами по поводу участия Церкви в политической жизни.*

— Я начал заниматься этими вопросами из внутренней потребности, так как в морально-идейном смысле я тогда был, можно сказать, весь в синяках. После 15 летнего пребывания в рядах ПОРП я благодарил судьбу, что на моем жизненном пути появились иезуиты и предложили сотрудничать с ними. Я тогда зарабатывал на жизнь в качестве верхолаза, покрывая краской опоры линий высокого напряжения и выполняя другие работы «на высоте». Но, участвуя в редактировании «Пшеглёнда повшехного», я сознавал, что интеллектуально развиваюсь и, что было тоже важно, не вхожу в противоречие с самим собой, потому что у иезуитов никто лез мне в душу. Я встретил там прекрасных людей. А поскольку я уже много лет был знаком с Ежи Туровичем, Яцеком Возняковским, Станиславом Стоммой, то решил написать статью о

«Тыгоднике повшехном». Я обнаружил, что в Польше почти нет литературы о гуманистическом католицизме в межвоенное двадцатилетие. А поскольку у меня уже была написана книга «Постоянство и перемены. Заметки о «Пшеглёнде повшехном»: 1884–1918», то приятели уговорили меня расширить вступительную часть, которую я назвал «Родословная». И вот как раз там-то я и вытащил на свет Божий такие проблемы, как антисемитизм и национализм. Оказалось, что для многих людей эти тексты были открытием. Моя книга — это по сути дела антология или даже справочник, в котором можно найти сотни цитат из книг и газетных статей, которые уже совсем запылились на библиотечных полках и все о них позабыли. Действительно, кто сегодня читает «Pro Christo»? А этот журнал знать необходимо, если ты хочешь понять, насколько были сильны националистические и антисемитские тенденции в определенных кругах польской Церкви. По чистой случайности я нашел свой метод — это эссеистика, чрезвычайно насыщенная цитатами, которые стали неопровержимыми аргументами. Никто не поверил бы моему изложению, а цитатам не поверить невозможно.

— *Встретились ли вы с подобными откликами, как Чеслав Милош, издавший антологию «Путешествие в межвоенное двадцатилетие»? Он тоже приводил цитаты, а услышал упреки в очернении польской истории и чуть ли не в кощунстве.*

— Милошу было труднее, потому что он, ни в чем не отступив от истины, все-таки подобрал цитаты под определенным углом зрения. Я же цитировал наряду с возмутительными текстами и такие, которые можно назвать благородными. Обращаясь к «Pro Christo», я в то же время обращался и к виленскому «Паксу», люблинскому «Возрождению» и «Verbum».

— *По вашему мнению, не играет ли сегодня «Тыгодник повшехный» не новую для себя роль одинокого островка? Когда-то это был островок независимости в море тоталитаризма, а сегодня — если не в море, то в реке католического фундаментализма.*

— Не стоит преувеличивать. Вспомните, что по-прежнему существуют журналы «Знак», «Вензь», «В дродзе» («В пути») и «Пшеглёнд повшехный». Правда, это публикации для узкого круга читателей, распространяющиеся в двух-трех тысячах экземпляров, но так уж с этим обстоит дело в демократических обществах. И всё же они обладают определенным влиянием, способствуют формированию общественного мнения. Верно также и то, что «Тыгодник повшехный» — это единственный католический еженедельник, совершенно лишенный

догматического характера, и против него выступают «Наш дзенник» и весьма влиятельное радио «Мария». Правда, если посмотреть на все это с другой стороны, то можно задаться вопросом: а как выглядит большинство польских католиков? Большинство исповедует простонародное католичество. Интеллектуальная аргументация доходит до них с большим трудом, если вообще доходит.

— В 1989 г. вы в качестве замминистра культуры и искусства непосредственно участвовали в формировании политики государства по отношению к национальным меньшинствам. В своей очередной книге «Партнерство ради будущего. Заметки о восточной политике и национальных меньшинствах» вы приходите к выводу, что мы должны освободить наши бывшие «восточные территории» от груза «ментальности пограничья». Что такое «ментальность пограничья»?

— Это очень рискованный тезис, и я до сих пор удивляюсь, что мне за него как следует не влетело. Опыт учит нас, что на территориях пограничья рождаются две категории людей. Во-первых, смелые, патриоты — но не «ура-патриоты», то есть это патриотизм с уважением к другому, иному человеку, живущему рядом со мной. Характерно, что сельское население, крестьяне характеризуются этой прекрасной чертой весьма мудрого и деликатного отношения к «иному»: иду я в свой католический костел, а заодно зайду и в православную церковь. А вторая категория — это зачастую люди со шляхетской родословной, занимающие позицию, которую когда-то называли позицией «рыцаря пограничья»: они ощущают это пограничье как неустанную угрозу собственному национальному облику. Националисты вообще внутри себя так неуверенны в себе, что должны во весь голос кричать о своем национальном самосознании — во всеуслышание и «с заглавной буквы», как будто находятся в осажденной пограничной крепости с наглухо закрытыми воротами. Я против этого протестую, потому что считаю, что пограничье может быть школой терпимости, где приобретает умение давать другому и брать от него. Это территория, на которой никто не в состоянии обозначить границу с точностью до метра — границу этническую, этнографическую, языковую, культурную, ибо нередко они проходят внутри семей и даже, сколь бы это ни казалось удивительным, внутри отдельного человека.

В первом издании книги я написал по поводу Львова, что если мы, поляки, не сумеем убедить украинцев, что кладбище «орлят» — это кладбище молодых людей, участвовавших в



братоубийственной войне, то мы проиграем. Если наши мероприятия по реставрации и реконструкции этого кладбища будут хотя бы частично направлены на восстановление пантеона славы польского оружия и памятника польскому присутствию на этих землях, то у нас нет никаких шансов. Каждый из этих ребят имеет право на крест, но обязательно ли здесь же должен присутствовать лев?

— *Вы пишете о двух концепциях нации.*

— Первая, принадлежащая Александру Солженицыну, — это концепция нации как сообщества, обладающего собственным генезисом и предназначением в надысторической сфере. Это концепция романтическая.

Вторая, принадлежащая британскому антропологу Эрнесту Геллнеру, — рассматривает нацию как явление, созданное самим человеком, как плод его убеждений, лояльности и солидарности. Это концепция гуманистическая.

— *Какая из них больше соответствует идеалу современной Европы?*

— Нация — это сообщество определенной мифологии, идеологии и определенных культурных тропов (или, если угодно, метафор). Совершенно замечательно, если в каком-то государстве ценности, признаваемые таковыми большинством граждан, считаются самоочевидными. Но даже в таких государствах, как Польша, где подавляющее большинство жителей отождествляется с католичеством, лучше будет сказать, что Польская Речь Посполитая образца 2005 года — государство не одной нации, а многих народностей. Я боюсь термина «национальное государство». В государстве же многих народностей человек родом из национального меньшинства имеет больше шансов полностью чувствовать себя дома. Поэтому я считаю чрезвычайно важными чисто символические жесты. Например, в свое время премьер Влодзимеж Цимошевич по моей просьбе принял на себя почетное покровительство над Фестивалем цыганской культуры в Гожув-Велькопольском. Он даже участвовал в праздничном концерте, провозгласив: «Вы у себя дома». Он же появился на Фестивале украинской культуры в Перемышле, организованном Польским союзом украинцев, вновь повторив на стадионе: «Вы у себя дома». Премьер Ханна Сухоцкая сказала то же самое, обращаясь к польским немцам. Каждый подобный жест — это сигнал для других, как они должны себя вести. И мне хотелось бы подчеркнуть, что в течение последних 15 лет в Польше сменяются премьеры, но политика по делам

национальностей, сформированная всего несколькими людьми — Тадеушем Мазовецким, Яцеком Куронем, Изабеллой Цивинской, Кшиштофом Скубишевским — остается неизменной. И тот факт, что бюджет государства, через посредство министра культуры, позволяет издавать литовскую «Аушру», белорусские «Ниву» и «Часопис», украинское «Наше слово», «Еврейское слово», словацкий «Живот», цыганский «Пром до Дром», я считаю огромным достижением Третьей Речи Посполитой.

*— С 1997 г. вы директор Национальной библиотеки. Участвует ли библиотека в реализации восточной политики Польши?*

— Думаю, да. Разумеется, по-своему, но в рамках договоренностей с МИДом и министерством культуры. Цикл «Наши соседи, иной взгляд» — это своего рода внутренняя зарубежная деятельность, это восточная политика, потому что мы охватываем своими мероприятиями Литву и Белоруссию; юго-восточная политика, потому что у нас теперь проходит выставка «Польша — Чехия». В ноябре мы открываем выставку «Между чуждостью и близостью: поляки и немцы», а в будущем году покажем выставку «Польский взгляд на Эстонию и Латвию». Я уже знаю, что, по всей вероятности, мы устроим также выставку «Поляки и венгры» и «Польша — Австрия». Эти выставки стали почти самостоятельным культурно-политическим институтом. На них всегда в качестве почетных гостей бывают директор национальной библиотеки данного государства и его посол. В случае выставки «Польша — Россия» мы по просьбе российской стороны показали в Москве и Санкт-Петербурге сокращенную («экспортную») версию выставки «Между отторжением и восхищением. Польша — Россия: из истории культурных контактов». Есть надежда, что с подобным предложением обратится к нам и Германия. Эстонцы и латыши свои приглашения уже подтвердили. Мы постоянно стараемся отвечать на просьбы, поступающие к нам из библиотек наших восточных соседей, причем это далеко не всегда местные библиотеки польской диаспоры. Если только у нас есть дубликаты, если нам удастся получить какую-то финансовую помощь, мы немедленно реагируем и отправляем посылки. Но мы всегда это делаем исключительно по предложению или просьбе другой стороны. Я никогда не допустил бы никаких действий или мероприятий, которые могли бы быть восприняты как самовольное поведение за границами Польши, особенно на землях, принадлежавших довоенной Польше. Я должен вести себя очень внимательно, чтобы никто не мог меня упрекнуть, будто я его полонизирую. Если у меня есть обращение от ректора университета или института, например

украинского, поддержанное местными властями и получившее положительный отзыв нашего консула, то я по мере возможности действую. Недавно я получил письмо от директора Национальной библиотеки в Абакане, столице Хакассии, где проживает 140 народностей, что там требуются польские книги, потому что он решил открыть в своей библиотеке польский культурный центр. Что ж, мы можем этому только радоваться.

*— Пожалуйста, расскажите об издательской деятельности Национальной библиотеки.*

— Мы издаем специализированные монографии и библиографические книги. Печатаем труды, посвященные комплектованию собраний книг, — плод многолетнего труда специалистов Национальной библиотеки. Издаем мы и периодику — в частности, «Ежегодник Национальной библиотеки», ежеквартальный «Информационный бюллетень» и ежемесячный журнал «Коммюнике». Уже много лет мы финансируем издание таких журналов, как «Новые книги», «Диалог», «Литература в мире», «Творчество», «Музыкальное движение» и «Новая Польша». С недавних пор мы стали участвовать в издании ежеквартального «Акцента» и ежемесячной «Одры».

*— Ваша библиотека играет также роль литературного салона.*

— Да. Я организовал нечто вроде салона писателей и издателей, причем не только польских. Недавно мы принимали у себя русских писателей и переводчиков, постоянно сотрудничающих с «Новой Польшей». Вскоре нашими гостями будут двое писателей из Литвы. Только что прошел «День чешского филолога». В мае мы собираемся представить львовское издательство «Каменярь». Ну и, как я уже говорил, масса выставок, даже музыкальные концерты. Библиотека — это живое место.

*Беседу вела Сильвия Фролов*

# ХРОНИКА (НЕКОТОРЫХ) ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ

- "Президент Александр Квасневский и маршал Сейма Влодзимеж Цимошевич сообщили, что выборы в Сейм и Сенат пройдут 25 сентября, а первый тур президентских выборов – 9 октября". ("Тыгодник повсехный", 29 мая)
- Из интервью с президентом Александром Квасневским: "После французского "нет" [в референдуме по европейской конституции] очевидным образом растет ответственность стран, у которых ратификация еще впереди, особенно Польши (...) Мы несем долю ответственности за судьбы Европы. Я считаю, что эта конституция выгодна Польше и полякам, так как она дает нам возможность пользоваться благами интеграции и помогает строить сильную Польшу в сильной Европе (...) Если бы кто-нибудь спросил у меня, кто обладает качествами, необходимыми президенту, и в высшей степени понимает европейскую идею, то я назвал бы два имени: Тадеуша Мазовецкого и Влодзимежа Цимошевича. Это люди, которые многое сделали для европейской идеи, которые преданы ей и у которых есть личная позиция, важная с точки зрения европейского партнерства, так что их голосом в Европе невозможно пренебречь". ("Политика", 11 июня)
- Согласно опросу Лаборатории социальных исследований, на предстоящих президентских выборах за Леха Качинского готовы проголосовать 26% поляков, за Збигнева Религу – 18, за Дональда Туска – 15, за Марека Боровского – 14, за Анджея Леппера – 10%. ("Газета wyborcza", 11-12 июня)
- "Политиков легко убедить, что ничто так не повышает самооценку поляков, как унижение и дискриминация чужаков. Разных чужаков (...) О том, как используется потребность поляков в высокой самооценке, хорошо свидетельствуют предвыборные опросы. Бросающийся в глаза успех Леха Качинского в майских опросах и падение популярности политиков, которые не потчевали избирателей антироссийскими и антизападными заявлениями, свидетельствуют об очень низком уровне коллективной самооценки поляков, которую политики все чаще будут стараться использовать". (Михал Билевич, "Политика", 4 июня)

- Влодзимеж Цимошевич будет баллотироваться на президентских выборах. К этому его склонили "многочисленные голоса соотечественников" и последние опросы, в которых Цимошевич с 37-процентной поддержкой опережает прежнего лидера Леха Качинского. ("Газета wyborcza", 29 июня)
- Согласно усредненным результатам опросов, проведенных в июне ЦИОМом, ГфК "Полония", Лабораторией социальных исследований, "Пентором" и ЦИМО, в преддверии парламентских выборов "Гражданскую платформу" поддерживают 22% поляков, "Право и справедливость" – 21, "Самооборону" – 13, "Лигу польских семей" – 12, "Союз демократических левых сил" (СДЛС) – 7, аграрную партию ПСЛ и "Польскую социал-демократию" – по 5, Демократическую партию и "Унию труда" – по 4, Всепольскую партию пенсионеров – 2%. Избирательный барьер составляет 5%. ("Газета wyborcza", 16 июня)
- ""Окладники" – это депутаты маленьких фракций и независимые (...) Хотя они не принимают участия в дележе политической добычи, депутатские оклады для них – достаточный повод для того, чтобы эта каденция Сейма продолжалась (...) Во всех спорах они всегда стоят на стороне тех, кто гарантирует, что оклады (2381 злотый, свободный от налогообложения, плюс 10 тыс. на приемную) и зарплаты (9526 злотых для профессиональных депутатов) будут и дальше поступать на счета (...) В общей сложности вне родных партий, от которых их избрали в Сейм, действуют уже более 70 депутатов. Это сила, которая может иметь решающее слово почти в каждом голосовании". (Мартин Бояновский, "Политика", 21 мая)
- Депутат Сейма, заместитель председателя "Гражданской платформы" Зита Гилёвская вышла из партии. Вначале появились сообщения о том, что сын Гилёвской Павел собирается баллотироваться в Сейм в родном Люблине, закрепив за собой первое место в списке "Платформы". Печать сообщила также, что в приемной Гилёвской работала ее невестка, а ее сын получал гонорары за экспертизы из средств, выделяемых Сеймом. В пятницу правление партии постановило передать дело в товарищеский суд. В субботу Гилёвская отказалась от членства в партии. "Сегодня в Польше можно чего-то достичь, только решительно повышая стандарты политической жизни", – прокомментировал это лидер "Гражданской платформы" Ян Рокита. ("Жечпосполита", 23 мая)

- Маршал Сейма Влодзимеж Цимошевич: "Политика все более вырождается, изобилует патологиями (...) Сегодня половина общества поддерживает обыкновенных политических авантюристов: "Лигу польских семей", "Самооборону" или "Право и справедливость". "Гражданская платформа", как мне кажется, – партия невероятно оппортунистическая и циничная. Честно говоря, сегодня я не вижу на польской политической сцене ни одной партии, к которой я мог бы относиться с полным уважением". ("Жечпосполита", 4–5 июня)
- Казимеж Куц, режиссер: "Нынешние польские партии – это фирмы, а политики – их работники. Они собираются вместе и думают, что бы такое сделать, чтобы фирма развивалась и приносила прибыль. А все развивается особенно быстро, когда можно править государством". ("Газета wyborcza", 17 мая)
- "В великопольском городе Гостынь кареты производит уже третье поколение Анджеевских (...) В мастерской работают 26 человек (...) Больше всего карет экспортируется в Германию, Испанию, Португалию и Голландию. Самый популярный конный экипаж "Victoria" стоит не более 20 тыс. злотых". ("Жечпосполита", 26–29 мая)
- "В первом квартале объем польского экспорта увеличился на 23,5% и достиг уровня 16,3 млрд. евро. Импорт рос медленнее – его объем увеличился только на 14,8%. В результате торговый дефицит (составивший 1,5 млрд. евро) оказался на 800 млн. меньше, чем год назад. В первом квартале быстрее всего рос экспорт польских товаров в Норвегию – на 180%. Почти удвоился экспорт в Россию, чья доля в наших экспортных поставках увеличилась с 2,4 до 4%. На 30–40% увеличились также поставки в Чехию и Великобританию". ("Жечпосполита", 13 мая)
- В первом квартале ВВП "увеличился лишь на 2,1%, а валовой доход промышленности – менее чем на 1%. Статистика не отмечает также роста инвестиций". ("Ньюсуик-Польша", 12 июня)
- "Сельскохозяйственные дотации ЕС и спрос на польские сельхозпродукты повышают стоимость земли. Цены земельных участков растут с головокружительной быстротой (...) С января по апрель текущего года Агентство сельскохозяйственной недвижимости продало почти 40 тыс. гектаров земли. Это в два с лишним раза больше, чем за тот же период прошлого года (...) За последние несколько месяцев земля в Польше подорожала в среднем на 18, а в некоторых регионах – даже на несколько

десятков процентов. В конце 2003 г. гектар земли можно было купить за 3,5 тыс. злотых; сегодня за него надо заплатить более 5,4 тысяч. К покупке земли крестьян склоняет рост окупаемости сельскохозяйственного производства – за последний год она увеличилась почти на 46% (...) Крупные фермеры скупают землю у мелких, создавая современные, высокорентабельные производственные фирмы" ("Ньюсуик-Польша", 5 июня)

- "В Польше покупают все меньше мыла. Больше всего мыла поляки покупали в 1980 г. – 1,7 кг на человека (...) В 1994 г. на одного человека приходилось уже только 0,8 кг мыла, а в прошлом – 0,6 кг". ("Политика", 4 июня)

- Их последний продолжительный разговор состоялся в 1981 г. у примаса Юзефа Глемпа. Последнее рукопожатие – в 1989 г. в Сейме. Вчера в студии вновь встретились два политика, которые в последние четверть века оказали самое сильное влияние на историю Польши. "Мы сражались друг с другом. Вы боролись за одно, а я – за нечто совершенно противоположное, – говорил Валенса. – Теперь Польша нуждается в мудром примирении". Немного позже Валенса спросил: "Господин генерал, как вы считаете, я – коммунистический агент?" – "Если бы вы действовали по указке властей, вы бы нас не свергли", – ответил Ярузельский. В свою очередь сам он вопрошал: "Как это возможно, что меня обвиняют в предательстве? Ярослав Качинский говорит, что я скорее русский, чем поляк. Я чистокровный поляк, сибирский ссыльный. Я весь фронт прошел, как же можно?" "Того, кто еще несколько лет назад сказал бы, что легендарный вождь "Солидарности" будет обращаться за подтверждением нравственности своего поведения к человеку, который ввел военное положение, и что Ярузельский будет искать понимания у Валенсы, все сочли бы чокнутым", – комментирует это событие Павел Вронский. ("Газета выборча", 23 мая)

- Президент Чехии Вацлав Клаус: "Я считаю, что это [награждение в Москве ген. Ярузельского] не только ваша проблема. В 1968 г., в бытность министром обороны, Ярузельский участвовал в оккупации Чехословакии. Затем он преследовал "Солидарность" – это тоже было не только польское дело. Военное положение было одним из самых мрачных моментов в моей жизни, сравнимых с ситуацией у меня на родине в 1968 году". ("Впрост", 29 мая)

- "Что останется в нас после 9 мая в Москве? Память о том, что путинская Россия не любит поляков? Воспоминания об

эквилибристике президента Квасневского? Этого маловато для события, которое дословно и символически показывает всю разницу между Польшей и Россией. В инцидентах может затеряться истинное значение конфликта, обозначившегося между двумя странами в последние недели (...) Мы обречены на конфликт интересов с нынешней Россией, независимо от того, зайдет ли речь о будущем Белоруссии и Украины, энергетических отношениях на линии РФ-ЕС или исторической политике. Мы обречены на конфликт интересов с Россией, опасной из-за своего страха перед истинной демократией и не признающей небольшие государства полноправными партнерами по диалогу (...) Это великий вызов для Польши". (Бартломей Сенкевич, "Жечпосполита", 16 мая)

- "Польский экспорт в Россию растет в головокружительном темпе. Это выгодно не только польским, но и западным фирмам, для которых Польша – выдвинутый на восток плацдарм. В прошлом году мы экспортировали в Россию товаров на общую сумму 2,85 млрд. долларов. Это почти на 90% больше, чем годом раньше. В этом году объем экспорта увеличивается в 100-процентном темпе". ("Газета wyborcza", 23 мая)

- Российские контрабандисты, у которых польские пограничники отобрали въездные визы, устроили пикеты (...) "Начиная с января границу пересекло свыше 300 тыс. человек, а визы мы отобрали только у 314 россиян, которые проносили товар по зеленому коридору, предназначенному для лиц, свободных от досмотра. Те, кого уличили в контрабанде в других коридорах, были отправлены обратно в Россию. Российские власти давно знают наши процедуры", – говорит пресс-секретарь варминско-мазурской погранохраны майор Роман Кшеминский. ("Газета wyborcza", 28-29 мая)

- Министр иностранных дел Адам Даниэль Ротфельд: "Наша политическая стратегия отношений с Россией опирается на позитивную программу. Если есть проблемы или трудные вопросы, надо их решать. Польское общество доброжелательно относится к русскому народу, к русской культуре. Однако поляки боятся российской империи. Эти вещи нужно четко разделять (...) Надо быть доброжелательными и дружелюбными, когда дело касается людей и общества, но в то же время суверенными и принципиальными там, где затрагиваются государственные интересы (...) Для нормального разговора необходимо время и соответствующая атмосфера". ("Газета wyborcza", 11-12 июня)



• Адам Д. Ротфельд: "Я говорю то, что думаю. Таков мой принцип. Тот, кто считает, что дипломат может и даже должен лгать, глубоко ошибается. Многие дипломаты полагают также, что, занимаясь политикой, можно говорить только то, что в данный момент политкорректно. Я считаю, что это ошибочный подход, ибо политика имеет смысл только тогда, когда партнер знает, что думает другая сторона. Надо выражать это ясно, не обижаться, но и не избегать трудных споров. Надо говорить правду". ("Жечпосполита", 24 мая)

• Виктор Ерофеев: "Польша производит впечатление кошки, которая схватила кусок мяса, утащила его из-под носа российской кошки и убежала. Прошло несколько месяцев, и вот Путин произносит речь по случаю годовщины окончания войны. Он знает слова Бжезинского о том, что без Украины Россия не будет сверхдержавой. То, что украинцы считают своим великим достижением, успешным бунтом против коррумпированного, частично криминального режима, с перспективы Москвы воспринимается как потеря. А кто это сделал? Поляки. Поэтому не удивляйтесь, что Путин ни единым словом не обмолвился о Польше. Для него она как раз такая кошка, которая только что украла у него кусок мяса. Вместо того чтобы обижаться, вы должны радоваться своей победе – не той, которая была несколько десятилетий назад, а той, благодаря которой Украина встала на путь демократии, и дай ей Бог удачи..." ("Жечпосполита", 21–22 мая)

• "В пятницу в Луцке на Западной Украине было принято решение о создании украинско-польско-литовской Парламентской ассамблеи. Ее главной задачей станет помощь Украине во вступлении в ЕС и НАТО. Заявление о создании ассамблеи подписали председатели польского, литовского и украинского парламентов Влодзимеж Цимошевич, Артурас Паулаускас и Владимир Литвин". ("Жечпосполита", 14–15 мая)

• Премьер-министр Юлия Тимошенко: "Мы всегда были очень благодарны Польше за защиту демократии на Украине и за то, что она прокладывает нам путь в Евросоюз. Мы просим вас и дальше это делать. Это очень важно (...) Я верю, что польский народ и польские лидеры всей душой и всем сердцем с нашим народом. Лучшим доказательством тому стал конкурс Евровидения, когда телезрители из Польши единственные во всей Европе массово голосовали за то, чтобы победила наша, украинская, "оранжевая" песня. Это люди голосовали, народ. А когда в Европе социологи спрашивают, должна ли Украина вступить в ЕС, чаще всего говорят "да" именно поляки. Наши

страны, наши народы необыкновенно близки друг другу".  
("Газета выборча", 10 июня)

- "Гостем встречи глав правительств Вышеградской группы стала премьер-министр Украины Юлия Тимошенко. Премьер-министры Польши, Чехии, Словакии и Венгрии заверили ее в поддержке "европейских чаяний" Украины, а также высказались за продолжение процесса ратификации европейской конституции". ("Тыгодник повсехный", 19 июня)

- "Праздник Европы. Тысячи варшавян приняли участие в большом празднестве на улицах столицы. На этот раз вместе с поляками шли украинцы, немцы и белорусы (...) Участники шествия несли над головами 300-метровую оранжевую "ленту единства" (...) идею которой выражали надписи на транспарантах: "Украину - в ЕС". ("Жечпосполита", 16 мая)

- "Сегодня и завтра перед памятником Мицкевичу по соседству с [местом] проведения варшавского саммита Совета Европы [буддийский монах Дзюнсей Терасава] будет молиться о мире и прекращении геноцида в Чечне (...) [Терасава] был первым буддийским монахом, которому разрешили молиться на Красной площади (...) Кроме того, во время первой чеченской войны он организовал и возглавил большой марш солдатских и чеченских матерей из Москвы в Грозный. "На глазах всего мира совершается геноцид чеченского народа, а мир молчит. Все мы несем ответственность за то, что происходит. И за мир", - говорит Дзюнсей Терасава". ("Газета выборча", 16 мая)

- "Президенты, премьер-министры и министры иностранных дел 46 стран принимают участие в начавшемся сегодня в Варшаве саммите Совета Европы. (...) "Великим отсутствующим" оказался российский президент Владимир Путин (...) Кремль решил понизить ранг российской делегации - ее возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Это результат критики несоблюдения прав человека в России Советом Европы". ("Жечпосполита", 16 мая)

- "Белоруссия - единственная европейская страна, не вступившая в Совет Европы, и в то же время последняя на нашем континенте диктатура (...) Говоря словами польского министра Адама Даниэля Ротфельда, сегодня Белоруссия - это "заповедник всего, чего Европа не приемлет" (...) Хорошо, что на этот раз, на варшавском саммите Совета Европы, о Белоруссии не забыли - в частности, благодаря инициативе Польши". (Славомир Поповский, "Жечпосполита", 17 мая)

- На саммите Совета Европы "была принята варшавская декларация, а также план действий и три конвенции: о борьбе с терроризмом, отмыванием грязных денег и торговлей людьми (...) Только в воскресенье российская делегация согласилась включить в варшавскую декларацию ссылку на историю – в т.ч. на "Солидарность" и падение Берлинской стены".

("Жечпосполита", 18 мая)

- 488 голосами "за" при 20 "против" Европейский парламент одобрил ежегодный доклад о положении в России. Евродепутаты призвали к "солидарности между старыми и новыми членами ЕС, если Россия вознамерится дифференцировать свой подход к ним". В докладе говорится также о "жертвах, которые понесли некоторые страны и народы в результате оккупации и дальнейшей аннексии Советским Союзом". Европарламент выразил надежду на то, что "Россия полностью признает эти факты". Кроме того, депутаты призвали Москву рассекретить архивные документы периода II Мировой войны, в число которых входят и документы, касающиеся катынского преступления. В отчете подробно говорится также о необходимости обеспечить свободное судоходство в Пилавском проливе – единственном выходе из эльблонгского порта в Балтийское море.

("Жечпосполита" и "Газета wyborcza", 27 мая)

- "Польские журналисты задержаны в Ингушетии. Съёмочную группу Польского телевидения допрашивали 14 часов. Российские спецслужбы конфисковали у телевизионщиков кассеты с видеозаписями и посоветовали им убраться домой. Репортеры государственного телевидения на протяжении двух месяцев собирали материалы для фильма, завершающего цикл о Чечне".

("Жечпосполита", 2 июня)

- "Власти Кубы не пустили на остров польских евродепутатов Богуслава Соника и Яцека Протасевича, а группу журналистов после кратковременного пребывания арестовали и выслали из страны. Политики и представители СМИ собирались принять участие в съезде кубинской оппозиции".

("Тыгодник повшехный", 29 мая)

- "Власти Белоруссии выслали из страны первого секретаря посольства Польши Марека Буцько, отвечавшего за польско-белорусское сотрудничество и контакты с белорусской оппозицией. В ответ на это Варшава объявила персоной нон грата первого секретаря посольства Белоруссии и составила список белорусов, которым запрещен въезд в Польшу. В этом списке есть, в частности, несколько членов правительства".

("Тыгодник повшехный", 29 мая)

- "Белорусское министерство юстиции признало недействительным мартовский съезд Союза поляков Белоруссии, на котором было избрано новое правление". ("Жечпосполита", 17 мая)
- "Белорусские КГБ и милиция угрозами и шантажом пытаются склонить к сотрудничеству активистов Союза поляков Белоруссии". ("Газета wyborча", 31 мая)
- "Гроза в Белоруссии грянет, но еще нескоро. К такому выводу пришли участники организованной Центром международных отношений варшавской конференции "Перед грозой. Политические перспективы Белоруссии в 2005–2006 гг.". ("Жечпосполита", 31 мая)
- Евродепутаты из Польши и Литвы, парламентарии из Латвии и с Украины, а также представители белорусской оппозиции встретились в Беловеже и подписали совместное заявление, в котором они обещают белорусскому обществу помощь: стипендии, поддержку неправительственных организаций и создание радиостанций в пограничных с Белоруссией районах Польши, Литвы и Украины. Кроме того депутаты, подписавшие беловежскую декларацию, требуют международной изоляции лиц, преследующих белорусскую демократию. ("Жечпосполита", 30 мая)
- Спустя 60 лет после окончания войны ветераны польской Армии Крайовой и литовской "Местной сборной" генерала Плехавичюса, сражавшейся на стороне немцев, впервые вместе почтили память убитых обеими сторонами гражданских лиц. 20 июня 1944 г. литовцы убили 39 жителей польской деревни Глинцишки, а 23 июня поляки в акте возмездия убили 27 жителей литовского городка Дубинки. Среди жертв обоих преступлений были женщины и дети. Бывшие бойцы двух враждующих армий подписали декларацию примирения в сентябре 2004 года. ("Газета wyborча" и "Жечпосполита", 13 июня)
- Общество ветеранов и семей с "кресов" организовало конференцию "Геноцид и депортация польского населения на восточных окраинах Польской Республики в 1939–1947 годах". На конференцию, прошедшую в Католическом доме Перемышля, прибыли несколько десятков человек. Ранее ей отказали в предоставлении помещения гарнизонный клуб и Национальный музей. С резкими протестами против конференции выступили украинское посольство, Польский союз украинцев и глава польской греко-католической Церкви архиепископ Ян Мартыняк, которые сочли ее попыткой

разжечь антиукраинские настроения. ("Жечпосполита", 6 июня)

- После долгих лет споров и нелегких переговоров с украинцами состоялось торжественное открытие кладбища Львовских Орлят. 66 лет назад, в последний мирный день перед II Мировой войной, на кладбище покоились останки 2859 человек, погибших в боях с украинцами в 1918-1919 гг. и во время польско-большевистской войны 1920 года. Многим из них было меньше 18 лет. Это их называли Орлятами. На кладбище похоронены также трое американских военных летчиков и один из шестнадцати погибших за Польшу французских пехотинцев. В конце 60-х гг. советское начальство устроило на кладбище Орлят свалку. 34 года назад туда въехали танки и бульдозеры, которые сравняли могилы с землей и присыпали обломками. (См. отрывки из речей, произнесенных во время торжественного открытия восстановленного кладбища президентами Александром Квасневским и Виктором Ющенко, на стр.52-53). ("Газета выборча" и "Жечпосполита", 24 и 25-26 июня)

- В Варшаве открыт памятник генералу де Голлю - авторская копия монумента, воздвигнутого в 2000 г. на Елисейских полях в Париже. В церемонии открытия участвовали министры иностранных дел Франции и Польши Мишель Барнье и Адам Ротфельд, а также президент (мэр) Варшавы Лех Качинский. ("Газета выборча", 16 мая)

- Александр Халль: "Еще полтора десятка лет тому назад поляки хранили память о визите генерала в 1967 году. В мрачную коммунистическую эпоху этот визит стал великим событием. Де Голль даже призывал Владислава Гомулку к большей независимости от СССР. Поляки ценят и тот факт, что французский генерал с оружием в руках сражался за Польшу. В 1920 г. де Голль занимался обучением польских офицеров в Рембертуве, а когда началась польско-большевистская война, отправился вместе с ними на фронт (...) За участие в боях он был награжден орденом "Virtuti militari"". ("Политика", 21 мая)

- "По просьбе Польши вопросом майской годовщины 1945 года занялась Генеральная Ассамблея ООН, на которой выступил польский министр иностранных дел. Адам Д. Ротфельд напомнил, что II Мировая война началась со сговора Гитлера со Сталиным, и призвал Россию признать пакт Риббентропа-Молотова противоречащим [международному] праву. В свою очередь Европейский парламент принял резолюцию в ознаменование окончания войны, в которой говорится о

"новой тирании, навязанной сталинским Советским Союзом"". ("Тыгодник повшехный", 21 мая)

• Проф. Войцех Рошковский из Польской Академии наук: "17 сентября 1939 года на рассвете советская армия без объявления войны перешла границу Второй Речи Посполитой (...) Агрессия была напрямую связана с подписанным 23 августа 1939 г. дополнительным секретным протоколом к пакту Риббентропа-Молотова (...) Однако правительство Российской Федерации отказалось признать это агрессией (...) Поэтому следовало бы выяснить, что собственно произошло 17 сентября 1939 года". ("Жечпосполита", 17 мая)

• По словам прокурора Люциана Новаковского из Главной комиссии по расследованию преступлений против польского народа, Институт национальной памяти (ИНП) будет устанавливать т.н. юридический факт советского нападения на Польшу 17 сентября 1939 г., а также его последствия. "Немцы за нападение на Польшу 1 сентября 1939 года были осуждены в Нюрнберге, а русские – никогда", – говорит прокурор Гжегож Малисевич из жешувского отдела ИНП. ("Жечпосполита", 17 мая)

• Адам Михник о польском издании книги Гавриила Попова "Война и правда. Цена победы": "Сегодня на фоне поразительных проявлений великорусского или скорее великосоветского шовинизма голос Гавриила Попова звучит как свидетельство честности и отваги "другой России" – России, уважающей свободу, достоинство и правду. Полякам этот голос особенно важен. Это доказательство того, что у польской демократии в России есть друзья". ("Газета wyborча", 17 мая)

• "Бойцам Армии Крайовой невозможно внушить, что их освободили. Если им временно улыбнулось счастье и они избежали тюрьмы, лагеря или расстрела войсками НКВД, то у них не могло быть никакой уверенности в том, что ждет их в будущем (...) Какой поляк сыграл самую значительную роль во II Мировой войне? Подскажу: он был советским, а не польским маршалом (...) Константин Рокоссовский был потомком старой великопольской шляхты. В XVII веке представители этого рода занимали в Речи Посполитой высокие должности. Обеднев, они по примеру других отправились пытаться счастья на восточные окраины [Польши]". (Бронислав Лаговский, "Пшеглэнд", 15 мая)

• Адам Михник во время дискуссии "Россия и ее западные соседи" в 16-ю годовщину со дня основания "Газеты

выборчей": "В 1976 г. мне довелось беседовать в Париже с русским писателем Виктором Некрасовым (...) который с первых же слов заверил меня: "Адам, я так симпатизирую Польше. В 1944 году я освобождал вас, был ранен". Это говорил Некрасов, человек необычайного мужества, благородства и честности. Разумеется, я сказал ему: "Я бы попросил тебя, Виктор, чтобы вы уже больше нас не освобождали и не на такое долгое время". Однако я считаю, что нам необходимо понять: так думают самые честные русские. Когда мой покойный друг Булат Окуджава хотел кого-нибудь положительно охарактеризовать, то говорил: "Он был фронтовиком" (...) Поэтому если мы в Польше не захотим понять этих эмоций и будем ставить моральный и исторический знак равенства между теми солдатами Красной Армии, которые гибли на польской земле, и нацистами, то мы сами себе навредим. Не только в польско-российских, но и в польско-польских отношениях, так как мы не будем понимать чего-то важного". ("Газета выборча", 12 мая)

- "Пытаясь заново осмыслить свое отношение ко [II Мировой] войне, мы должны помнить – даже если эта память будет сидеть в нас занозой, – что главной силой, которая войну выиграла, был Советский Союз. По сравнению с его вкладом не только наши достижения, но и успехи западных союзников были гораздо менее существенны. В одиночку мы не освободили бы даже Польшу – число красноармейцев было в несколько раз больше, чем сражавшихся бок о бок с ними солдат с орлами на фуражках". ("Газета выборча", 13 мая)

- "22 мая с.г. в Рембертуве прошел день памяти в 60-летие создания лагеря НКВД №10. После Божественной литургии (...) участники мемориальной церемонии прошли к памятнику Жертвам лагеря НКВД на ул. Марса, где состоялась "переключка погибших", а также возложение цветов и венков". ("Мешканец", 2 июня)

- Профессор Люблинского католического университета Стефан Свежавский: "Роль ангела, т.е. того, кто послан Богом, может исполнять любое творение Божие. Для нас такими "ангелами", ниспосланными Богом, оказались... пьяные советские солдаты, которых мы взяли к себе в телегу, убегая с маленькими детьми из Львова, где нам грозила высылка далеко на восток. Благодаря тому, что они уселись возле нас, мы спокойно миновали два военных патруля, бдительно охранявших дорогу. Исчезли они так же внезапно, как появились, а мы перешли "зеленую границу"". ("Газета выборча", 21-22 мая)

- "На протяжении 13 лет – до 1988 года – [доминиканец] Конрад Хеймо, римский опекун польских паломников, встречался с сотрудниками и агентами секретных спецслужб ПНР. В награду он получил различные подарки, паспорт и 20 тыс. немецких марок. Однако, как утверждает Институт национальной памяти, он не доносил на Иоанна Павла II. ИНП опубликовал изложение 700 страниц документов госбезопасности на тему о. Хеймо, где историки пишут, что доминиканец был для МВД одним из самых ценных источников информации о ситуации в Ватикане и в польской Церкви". ("Газета wyborcza", 2 июня)

- "Центр им. Шимона Визенталя, бесплатный телефон которого действует в Варшаве уже почти два года, изучает заявления граждан Польши, касающиеся 20 человек, подозреваемых в участии в погромах или в выдаче евреев во время II Мировой войны (...) За сведения, благодаря которым подозреваемым удастся вынести приговор, Центр намерен платить 10 тыс. евро". ("Политика", 21 мая)

- "На лотках перед варшавской церковью св. ап. Иакова рядом лежат книги Иоанна Павла II и многочисленные публикации о "жидомасонском" заговоре в Польше. "Это хула на Бога", – считает профессор-библеист о. Михал Чайковский (...) Настоятель прихода св. ап. Иакова не имеет ничего против торговли перед церковью. Его не возмущает сочетание милосердия Иоанна Павла II с антисемитскими лозунгами (...) Антисемитскими книгами торгуют не только на площади Нарutowича. Их можно купить (...) перед Варшавским университетом, перед церковью св. Станислава Костки в Жолибоже, в книжном магазине "Антик" при церкви на Гжибовской площади. Яцек Пурский из антирасистского общества "Никогда больше" утверждает, что это нарушение статей 256 и 257 польского УК(...) Однако, по словам Халины Бортновской из Хельсинского фонда и общества "Открытая Речь Посполитая", суды прекращают подобные дела, объясняя это ничтожным вредом, наносимым обществу". ("Газета wyborcza", 2 июня)

- Согласно последнему докладу Совета Европы, в Польше евреи и их достояние часто становятся жертвами актов физической агрессии и вандализма. Печатается множество книг и периодических изданий антисемитского толка. Кроме того, существуют СМИ, распространяющие антисемитские взгляды, например радио "Мария". Антисемитские утверждения появляются даже в проповедях некоторых священников. Беспокойство вызывают также выступления политиков, особенно из "Лиги польских семей" и "Национального



возрождения Польши". Дискриминация цыган названа в докладе одной из причин их трудного положения. Доклад подготовила Европейская комиссия против расизма и нетерпимости (ECRI). ("Жечпосполита", 15 июня)

- "После серии скандалов и попыток втянуть [артистов московского] Большого театра в политическую авантюру труппа покинула Польшу. Россияне должны были дать почти 20 представлений. Из них состоялись только пять. Артистам не заплатили за выступления. В прокуратуре лежит иск против организатора гастролей, Подлясского концертного агентства". ("Жечпосполита", 20 мая)

- "Журналу "Пшеглэнд православный" исполнилось 20 лет. Первый номер журнала вышел в свет 21 апреля 1985 года". ("Пшеглэнд православный", июнь)

- "Министерство финансов сообщило, что в этом году польские налогоплательщики передали в пользу общественно-полезных организаций свыше 100 млн. злотых. Это в 10 раз больше, чем год назад". ("Тыгодник повшехный", 21 мая)

- "Кристина Щепаняк с [варшавского] Центрального вокзала, которой неизвестный благотворитель подбросил 41 тыс. злотых, не хочет брать эти деньги (...) Она отнесла их в полицейский участок. Экспертиза показала, что деньги настоящие (...) Бездомная женщина отвергла все предложения постоянного места жительства. Уже 16 лет она ночует на вокзале". ("Жечпосполита", 28-29 мая)

- "На скамье подсудимых – генерал Антоний Ковальчик, бывший главный комиссар полиции, обвиняемый в даче ложных показаний. Теперь в следственном изоляторе оказался еще один генерал полиции (...) несколько лет назад претендовавший на должность главного комиссара. Прокуратура обвиняет Мечислава Ключа в коррупции: генерал взял несколько сот тысяч злотых за предоставление [секретных] сведений топливной мафии, обворовывающей бюджет (т.е. нас) на сотни миллионов злотых. Кроме того он продал информацию о своих товарищах-полицейских, отобранных для борьбы с топливной мафией". ("Жечпосполита", 16 мая)

- "В Лодзи и Познани распущены управления Центрального следственного бюро (ЦСБ). Проверка кадров ЦСБ охватит всю страну (...) Полицейские из лодзинского ЦСБ, возможно, продали на черном рынке 120 кг. героина и кокаина, ранее конфискованного у бандитов". ("Газета выборча", 21-22 мая)

• Тадеуш Мазовецкий о местном самоуправлении в Польше:  
"Без местной демократии нет вообще никакой демократии (...)  
Мы быстро провели реформу органов местного самоуправления (...)  
хотя впоследствии, при правительствах Ханны Сухоцкой и  
Ежи Бузека, она была дополнена новыми законами. Однако эти  
изменения не нарушили основного принципа: вводя местное  
самоуправление на уровне повата и воеводства, никто не  
отбирал полномочий у гмины (...) Достижения органов  
местного самоуправления в повышении уровня цивилизации в  
деревнях и маленьких городках несомненны, особенно если  
речь идет о дорогах, водопроводе и канализации. Люди  
научились быть хозяевами на своей земле. Во многих местах  
(...) возникли группы людей, заинтересованных деятельностью  
на благо своих "малых родин". Однако в других местах местные  
власти бюрократизировались, стали слишком зависеть от  
политических партий или проявили склонность к другим  
извращениям. Они бывают подвержены и коррупции (...)  
Я выступал за реформу органов местного самоуправления, ибо  
считал, что она станет важным элементом восстановления  
демократического общества". ("Жечпосполита", 27 мая)

• "Узнав, как Польша тратит деньги, выделенные Европейским  
инвестиционным банком, экологи подняли тревогу: вместо  
того чтобы предназначить 250 млн. евро на восстановление  
разрушений, вызванных наводнениями, и создать систему  
раннего предупреждения, мы, вопреки экологии и  
европейским стандартам, бетонировали русла рек (...) Результат  
контроля шокирует. Регуляция осуществлялась незаконно (...)  
Загублена природа (...) Работы велись в полном несоответствии  
духу Рамочной водной директивы ЕС, согласно которой  
первоочередной целью должно быть поддержание в хорошем  
состоянии экосистемы". (Адам Вайрак, "Газета wyborcza", 24  
мая)

• "Мертвые птенцы, отрезанные головки, оторванные лапки.  
Кто-то разорил гнезда в период гнездования. Так выглядит  
птичий заповедник в окрестностях водохранилища Езёрско.  
"Это была бойня. Убито по меньшей мере 600 птенцов большого  
баклана. Им было около трех недель", - говорит ветеринар  
Кшиштоф Качмарек из Общества натуралистов Лодзинской  
земли". ("Жечпосполита", 6 июня)

• "Люди, едущие через Мазуры, становятся невольными  
свидетелями трагедии: вдоль шоссе лежат сотни стволов  
прекрасных деревьев (...) Толстые стволы, как правило здоровые  
и массивные, вывозятся на удивление быстро (...) Аллеи, этот  
символ и восхитительное украшение мазурского пейзажа,

вырубаются во все нарастающем темпе". (Рената Марш-Потоцкая, "Политика", 7 мая)

- Из письма в редакцию Ярослава Гамдзыка: "Глубоко потрясает вид пустых, лишенных деревьев мазурских дорог (...) Почему (...) управления гмин, поветов или воеводских дорог начали вырубать придорожные деревья? (...) В настоящее время рыночная стоимость одного столетнего лиственного дерева – по меньшей мере несколько сот злотых (...) Эти деревья пережили одну или даже две мировые войны и все годы ПНР". ("Политика", 4 июня)

- Из некролога: "Умер Юрек Шиповский, порядочный, чуткий человек. Он любил деревья..." ("Газета wyborча", 17 мая)

- Станислав Тым: "Я согласен с Мареком Эдельманом, что человек – особенно неудачная комбинация генов. В этой комбинации преобладают агрессия и злоба (...) Величайший позор вида под названием "человек" – это бескорыстная жестокость. Иногда трудно избавиться от впечатления, что человек находит свое призвание, причиняя страдания другим. Поэтому для меня важно сочувствие другим. Я стараюсь, насколько это возможно, с уважением относиться к судьбе каждого создания, независимо от того, кто оно – дерево в сувальском лесу или президент Боливии". ("Жечпосполита", 30 мая)

# ПРИМИРЕНИЕ НАД МОГИЛАМИ

Поляки и украинцы, мы подаем друг другу руки поверх истории, поверх могил, и я уверен, что в будущее мы идем вместе. Здесь покоятся останки участников польско-украинских боев, в большинстве своем молодежи, отдавшей жизнь за то, чтобы Львов принадлежал создававшейся тогда независимой Польше. В ту пору в битве столкнулись два чаяния, два патриотизма, две национальных гордости. Мы, сегодняшние поляки, низко склоняем голову перед самопожертвованием Львовских Орлят. Мы воздаем им почести, взволнованные их героизмом и пылкой преданностью национальному делу.

Одновременно мы с почтением думаем об украинских жертвах боев, тоже отдавших жизнь в стремлении к независимости, к созданию украинского суверенного государства.

Место, в котором мы находимся, приобретает новую символику. Когда-то оно было свидетельством споров. Сегодня – становится символом польско-украинского примирения, начавшегося вместе с крушением тоталитарной системы. Восстановление кладбища Орлят стало возможным только благодаря тому, что возникла свободная и демократическая Украина.

С огромной ответственностью и взаимным милосердием мы принимаем наследие великого Папы Иоанна Павла II, который так сильно переменял облик этой земли и переменял так много человеческих сердец. Здесь, в этом месте, ровно четыре года назад, он призывал: "Да прольется прощение – данное и полученное – словно благотворный бальзам в каждое сердце. Да будут все готовы благодаря очищению исторической памяти ставить выше то, что единит, нежели то, что разделяет, чтобы вместе строить будущее, основанное на взаимном уважении, братском сотрудничестве и подлинной солидарности".

Сегодня мы стали свидетелями нового исторического шага. То, что президент Польши и президент Украины находятся вместе на этом кладбище; то, что наши народы способны говорить друг с другом со взаимным уважением и восприимчивостью – даже на самые горестные темы прошлого, – свидетельствует о том, с какой силой воли и непреклонной убежденностью мы идем по пути примирения и взаимопонимания.

На Украине требование свободы народа и достоинства людей, справедливости и демократии со всей силой прозвучало из ваших сердец на площади Независимости в ноябре-декабре прошлого года.

Польша услышала призыв Украины. Мы радуемся и гордимся вашим успехом. Мы верим, что наступит время, когда мы сможем приветствовать вас в семье стран-членов Европейского союза.

Народы, чтобы жить, должны помнить. Мы, поляки и украинцы, благодаря горькому историческому опыту знаем, что такое сохранить память. Однако нам нельзя всего лишь предаваться воспоминаниям о прошлом. Это недостаточно. Это ограничивает.

# ОЧИСТИМ ПАМЯТЬ ОТ ФАЛЬШИ

Здесь, на львовском кладбище, погребены люди, которые любили свою родину и исполнили свой долг перед ней. Никакие наши слова ничего уже не отнимут и не прибавят к тому, что они совершили. Воины погибли в бою, а их могилы сделали это место священным для поляков.

Останки погибших стали частью львовской земли, и только здесь польский народ может воздать почести их памяти. Дать потомкам такую возможность – справедливо. Они имеют на это право, а на нас, в чем я глубоко убежден, лежит христианский долг помочь им. Для нас, украинцев, почетно воздавать почести всем, кто страдал и погибал в братоубийственной трагедии, некогда разыгравшейся на нашей земле. Этого требует наша честь. Не побоимся взглянуть в глаза прошлому. Этого требует наша ответственность за будущее.

Долго и с большими трудностями украинцы и поляки шли к великой истине. Повторим ее вновь: без свободной Украины не будет свободной Польши, и без свободной Польши не будет свободной Украины. Теперь мы уже poznali истину и можем не бояться призраков прошлого. В свое время франко-германское примирение открыло путь к объединению европейских народов. С этого началась новая история единства нашего континента, которая возрастает на взаимопонимании и прощении. Свои страницы в нее вписали многие народы Европы. Пришла и наша очередь.

Тем, кто лежит в этих могилах, мы вместе говорим: мы помним урок истории. Свободная Польша – друг и стратегический партнер свободной Украины. Украинские и польские воины сегодня плечом к плечу защищают мир и безопасность в разных частях и уголках мира. Варшава последовательно работает над тем, чтобы открыть Киеву европейскую дверь. В объединенной Европе наши народы видят себя вместе.

Будем вместе очищать историческую память от фальши, которая, уверен, уменьшает нашу свободу. Я верю, что уже в недалеком будущем мы сможем на польской земле достойно почтить память украинских героев, погибших за украинское государство. Польская сторона уже выразила такую готовность.

Сегодняшнее событие собрало здесь многих друзей украинско-польского взаимопонимания. Очень жаль, что нет уже среди нас Папы Иоанна Павла II – великого поляка с украинскими корнями. Как никто другой, он понимал трагизм конфликта между нашими народами и очень много сделал, чтобы наступил сегодняшний день. Нам осталось его наставление: "Единство и согласие! Вот тайна мира и условие истинного социального прогресса". Я молю Бога дать нашим народам силу для воплощения этой великой заповеди.

## МОИ РУССКИЕ

Меня зовут Ян Тадеуш Станиславский. У меня два метафизических вопроса. Первый: почему великий реформатор русского и мирового театра Константин Сергеевич Алексеев взял себе псевдонимом мою фамилию?.. У него на выбор были тысячи, мог назвать себя Пушкиным, Мицкевичем — а он никак, Станиславский и Станиславский...

Второй вопрос задам позже, а о первом что ни думай, фактом остается, что впервые в Москве (1975 год) я оказался «по театральному делу»! Директор варшавского «Театра повсехного» [всеобщего] Зигмунт Хюбнер решил в рамках декады советской культуры сыграть вечер поэзии Евгения Евтушенко и поручил мне найти автора в Москве и договориться «о принципах».

Три дня ходил я на Котельническую набережную, звонил, пока наконец мы не встретились в гостинице «Россия». Быстро хлебнули шампанского на брудершафт и перешли к репертуару, т.е. к тем самым «принципам», ибо не все, что шло в Москве, могло пойти в Варшаве. Однажды я в этом уже убедился в Ленинграде, где нас, делегацию польских актеров, милейшая Цецилия Семеновна Андреева послала на сказку «Садко» в Ленинградский театр кукол. Мы были почти возмущены, но она смеялась: «Идите, идите, вам наверняка понравится!» Понравилось — это мало сказать. И дело было не в том, что у кукол все двигалось: глаза, рот, уши, — а в том, что такой ядовитой политической сатиры мы в Польше видом не видали! В антракте мы помчались к директорше с поздравлениями, а она говорит, что через месяц они должны быть в Варшаве! И мы с энтузиазмом говорим, что нагоним ей в зал самую лучшую публику, а директорша улыбнулась и говорит: «Но сказу «Садко» мы играть не будем?» — «Почему?» — А она еще шире улыбается: «Потому что был польский консул и сказал, что в Польше этого... не поймут».

У палки, разумеется, было два конца. Вот приезжает Женя в Варшаву. Мы играли в первой части его стихи по-польски, слегка отрежиссированные, а во второй части он сам выступал. Принимали его очень хорошо, можно сказать восторженно, но... последние ряды в зрительном зале были пустые! Он этого понять не мог. У себя он был приучен к прямо-таки поэтическим митингам на стадионах — а здесь... Получилось



же так, потому что цензура, боясь каких-нибудь демонстраций, велела развешивать плакаты на окраинах. «Я этого не понимаю, не понимаю...» — драматически говорил Женька в буфете, тем более что Хюбнер принес следующую «сенсацию»: на спектакль не разрешено писать рецензий!.. Наконец, когда Женька воскликнул еще несколько раз, что ничего не понимает, Хюбнер двинул плечом (что означало у него сильное волнение) и сказал: «Женька, я тебе все объясню... Знаешь, почему ты не можешь понять?.. Дело в том, что вы, русские, никогда не поймете, потому что у вас, русских, нет такого большого друга, как... Советский Союз...»

А Женька слушал его, слушал, очень внимательно, потом глаза у него стали расширяться, да и рот... и вдруг он расхохотался, крича сквозь смех: «Понял! Я уже все понял!!!»

А ведь еще в Москве, сразу после встречи, после установления «принципов», он сам мне объяснял: «Ян, тут никто не знает, что такое демократия. Тут никогда демократии не было! На тысячу лет истории России только восемь месяцев не было цензуры!!! Керенский отменил, Ленин дал Горькому деньги на газету «Новая жизнь». Горький написал, что Ленин — троглодит, потому что ставит эксперименты на нарде, и Ленин газету закрыл — слава Богу, Горького не посадил — и ввел цензуру!»

Несколько ночей Женька ночевал у меня. То есть больше говорил, чем ночевал. Моя мама готовила ему супчики (он их обожал!), он эти супчики ел и говорил, говорил, говорил... О русской богеме до революции, во время революции и после... Замечательно рассказывал!

Перед самым отъездом забежал ко мне: секретарь посольства устраивает прием в его честь, он может привести кого хочет, берет только меня. По дороге, в такси, Женька говорит: «Знаешь что, возьми лучше этого Солженицына по-русски к себе в сумку». — «Хорошо, — отвечаю, — а ты лучше не говори, что я выступаю в кабаре «Под Эгидой»».

Приезжаем, секретарь словоохотливо нас приветствует и прямо в самом начале говорит: «Здравствуйте, пан Станиславский! А мы вчера были в кабаре «Под Эгидой» — замечательная программа! Только зачем Пшоняк выступает в советской папаше?!» На этом-то приеме Женька решил пригласить меня в Россию. На полотняной салфетке, к великому наслаждению секретаря, написал приглашение. И через полгода на салфеточное приглашение секретарь дал мне визу на весь СССР. «Даю тебе, — сказал он, — даже на

«закрытые» города, но, честно говоря, лучше тебе туда не ездить».

Сначала мы поехали к дяде Ленке в Иркутск. В прихожей стоял телетайп (Леня — корреспондент «Известий»), выхожу на балкон и... чуть не умираю от разрыва сердца. Потому что открыл двери — и полетел в пропасть!!! Пропасьт глубиной... двадцать сантиметров, но откуда мне было знать, что в Иркутске балконы строят ниже уровня пола, чтобы тающий снег не натекал в квартиру?!

Плывем по Байкалу в заповедник, где рыщет медведь. С нами плывет Эрик, в прошлом охотник, ныне начальник охраны медведей по всем Саянам. Прежде чем доплываем — новое сообщение: медведей — четыре! Медведи полюбили сгущенку. Случается, геолог спит, а тут мишка вытаскивает его с матрасом под стенку палатки, ищет молочка. Рассказывают и разное другое. Однажды баба что-то готовила, слышит за спиной: муж вошел, дверь не запер. «Запри, сквозняк!» — заорала баба. Муж не послушался, она в ярости обернулась, а это медведь, стоит в открытой двери и кивает головой. Баба отчаянно замахала руками и жалобно закричала: «Уйди, уйди!» И медведь повернулся кругом и вышел, да только дверь за собой не запер. Хам!

Такие-то истории о медведях рассказывал мне Эрик, тощенький, худенький. Подплываем к берегу — четыре медведя превращаются в одного маленького мишку, который рыщет в поисках сгущенки. Эрик пускается в погоню. «Без оружия?» — тревожится Женя. Эрик объясняет: «Он маленький, меня ему хватит, а вы останетесь...»

Говорят, что если хорошо наточенный карандаш вбить в Байкал на глобусе, то с другой стороны он выйдет в Африке из озера Танганьика! Я еще не пробовал...

\*

Позвонил Виктор Ворошильский, что приезжает Булат Окуджава и чтобы я принес свою гитару. Мою гитару... Треснутую дешевку за 500 злотых?... Не бывать такому. Попросил у Славы Пшибыльской — она, разумеется, не отказала, и я принес еще и ее гитару, испанское чудо за двадцать тысяч! Булат взял ее в руки как реликвию, начал перестраивать на русский лад... И вдруг отложил: «Слишком для меня элегантная». И играл на моей!... А когда кончил, написал на гитаре: «Яну, с благодарностью, Булат».

От Ворошильских мы пошли в клуб... потом еще куда-то. Утром приземлились в молочном баре на Новом Свете, визави ЦК партии. Слегка позавтракали и спокойненько поехали на Польское радио, где ждала Агнешка Осецкая. Она закрыла Булата с гитарой и микрофоном в студии и велела играть и петь всё. Так возникла едва ли не первая в мире пластинка Булата Окуджавы. А моя гитарка рассохлась, разлетелась, оставалась только дощечка с автографом, да и та куда-то запропастилась.

...В конце — второй метафизический вопрос. Если вам кто-то станет говорить, что поляки не любят русских, сделайте так: поглядите в потолок, поглядите на стенку, поглядите в пол... И внезапно спросите:

— Ну ладно, только почему поляк, как нахлещется, поет «Очи черные», «Две гитары за стеной», «Волга, Волга, мать родная» и все такое прочее?

Спокойной ночи, а то перед сном уже не увидимся!

---

*Ян Тадеуш Станиславский, родился в 1936 г. на Волыни. Актер, сатирик. Известен по радио- и телепередачам. Выступал в лучших политических кабаре, таких, как «Стодола», СТС (Студенческий театр сатириков), «Под Эгидой». Автор многих сатирических текстов, а также популярных песен, вошедших в репертуар Ежи Паломского, Халины Куницкой, Ирены Сантор и других.*

## ЧЕ ГЕВАРА

Тогда мы жили в нескончаемых потемках. Разве так бывает? Дневной свет едва забрезжит, и вот его уже нет, да и был он какой-то шершавый, как домотканое белье, как накрахмаленная простыня в общежитской постели, как свитер, что я вязала всю осень из синтетической ковровой пряжи. Солнце — огромная, тусклая лампочка в 60 ватт. Выйдешь из универа, а уже темно, и с каждой минутой все темнее. Тусклый свет пустых витрин желтыми пятнами лежит на мокрых тротуарах перед магазинами. Полумрак в трамваях, полумрак за задернутыми шторами в окнах квартир на улице Новотко. Начало декабря. Варшава.

Я все время мерзла. На остановках мечтала о пуховике, но он был из другой жизни. Из сфер, недоступных воображению, — из космоса, из-за границы. В университетской столовке, которую окрестили «Таракан», я брала полпорции овощей и блинчик. Потом не могла прийти в себя от переедания. Может, кутнуть и купить пончик? Вот буду работать, мечтала я, стану взрослой самостоятельной женщиной и куплю себе целый поднос пончиков — на Мархлевского, там они самые вкусные. А потом съем их, все до единого, — спокойно и методично, начиная с верхнего.

На очередном общем собрании в актовом зале было решено выдать пропуска тем, кто участвует в благотворительной работе, поэтому у меня появилась возможность выходить на улицу — привилегия по сравнению с другими бастующими. Гордо собрав свои вещи со стола — мы спали на столах, — я шла вниз, дежурный проверял, есть ли моя фамилия в списке, и открывал ключом дверь. Я останавливалась на морозном воздухе, среди внезапно наступившей тишины, в неверном свете, оберегающем тайны факультетского парка. Исчезал галдеж, монотонный стук пинг-понговых шариков по пластиковой поверхности столов, глухое бречание гитар откуда-то из-за стены. Исчезал сухой комок пыльного воздуха, который у всех у нас стоял в горле. Я вдыхала мороз. Мои подопечные были моим спасением; они давали свободу. Издалека, с Праги, посылали мне отпущение грехов, и оно как благая весть летело над городом через Вислу и опускалось на Ставках\*, прямо у меня над головой. Отблеск Духа Святого. Я чувствовала свою избранность.

Мне нужно было на остановку 111 го автобуса, но уже у памятника я коченела от мороза, зато потом, в автобусе, устраивалась как дома — ставила ноги на перекладину под сиденьем, подтыкала полы пальто так, чтобы нигде не оставалось ни щелки, поднимала воротник и в тепле собственного дыхания, со всеми удобствами, летела через город, словно зрачок, чистая темная зеница.

Красные буквы транспарантов оповещали о забастовке в университете, как только автобус, миновав Театральную площадь, выезжал на Краковское Предместье. Транспаранты были протянуты через все здание философского факультета, висели на университетских воротах. Оживление, возбуждение, странная эйфория, темные фигуры сбившихся в кучки людей, лотки с самиздатом и у входа на философский неизменные два студента с коробкой, куда прохожие бросали сигареты — редко целую пачку, чаще по несколько штук. Мы там, на Ставках, от этого воодушевления, шума, света и тепла были отрезаны. Безвылазно сидели, гнили в своем мрачном здании. Наша забастовка существовала на отшибе. Не помогал и Боб Марли, которого крутили без остановки, на манер революционной шарманки или молитвенной мельницы. А история вершилась здесь, на Краковском Предместье.

Из окон автобуса я наблюдала за дневной суетой на улице Новый Свет: у каждого отыщется какое-нибудь дело, найдется что посмотреть, — стадный инстинкт в переломные моменты истории обостряется. Я выходила на Новом Свете или ехала дальше, на Саскую Кемпу, через темную равнодушную Вислу. Там город затихал, снег скрипел решительнее, как в деревне. Улица принимала тебя в объятия, словно заботливая нянька.

За мною числилось трое взрослых людей. Наш шеф, М., величал их «клиентами». Я тоже говорила «клиенты». Назвать их «пациентами» было бы предательством, это означало бы, что мы находимся по другую сторону, там, где конформизм и лицемерие, — что мы заодно с системой. М. именовал их также «сумасшедшими» и «психами» — по-простоцки, по-свойски, мне так нравилось больше всего, эти слова как бы возвращали нас к самым корням, к домотканому суровому полотну, простому черному хлебу; не было в них ни обмана, ни пустого умничанья, всяких там «маниакально-депрессивных психозов», «параноидальных шизофрений» или «borderline». Простым словам можно было доверять. Да, люди сходят с ума; так было, есть и будет, говорил М. Почему? Для этого вам читают лекции — там объяснят, виноваты ли гены, воспитание, тонкие механизмы обмена веществ, ферменты,

бесы или порча. Люди сходят с ума, это данность. Так было и будет. Всегда существовали нормальные и ненормальные, а между ними — мы, терпеливые помощники.

М. руководил нами из своей квартиры на третьем этаже дома на улице Тамка, но мне редко доводилось его видеть. Я общалась в основном со старшими коллегами, которые должны были опекать нас, молодых волонтеров. Отношения строились по иерархическому принципу, потому что мы были сетевой организацией. Ежедневно после обеда мы разбегались по городу, как члены тайного ордена, как эзотерическая «скорая помощь», как коммивояжеры психического здоровья. Иногда, почувствовав, что теряю голову, я пыталась представить себе, как бы поступил М. на моем месте. Большой, бородатый, в неизменной фланелевой ковбойке, он всегда на своем посту, у подоконника, откуда ему виден весь город. Мысль о нем меня успокаивала. Исходящий от М. посыл был ясен, хотя никогда не произносился вслух, даже когда мы выпивали у М. дома после собрания: людям приходится страдать, так уж устроен мир. Но иногда страдания бессмысленны, люди становятся жертвами, хотя никто от них этого не требует и никто этого не понимает. Наша задача — просто быть с ними. Мы верим, что это им помогает. Почему — мы не знаем.

У меня было две точки: Саская Кемпа — несколько обсаженных деревьями улиц — и Новый Свет, на пересечении с Иерусалимскими аллеями, в кафе «Любительское». Здесь, в этой забегаловке, где всегда висел сигаретный дым и зимой было темно даже днем (хотя зимние дни коротки — мелькнут, и нет их), я ждала Че Гевару, куря и попивая чай за столиком в углу. Обычно я садилась у окна, отсюда был виден кусочек улицы и часть магазина «Одежда», в котором всегда было шаром покати. Женщины в бесформенных клетчатых пальто и с авоськами в руках ждали, когда выбросят товар. Мой клиент входил, громко топая, стреляя глазами, в полной театральной готовности, весь обвешанный котелками и перепоясанный ремнями, как пулеметными лентами, в длинной, до пят, шинели и в каске, под которую он поддевал теплую шерстяную шапку. «Хайль Гитлер!» — кричал он с порога. Или: «Мир, труд, май!» — или еще что-нибудь столь же нелепое, а присутствующие не спеша поворачивали к нему голову и улыбались, не то с издевкой, не то снисходительно, более-менее по-доброму. Иногда кто-нибудь отвечал: «Привет, Че Гевара!» — и в зале опять становилось шумно.

Взяв курс на меня, он по пути еще приставал к двоим-троим посетителям, декламировал им какой-то стишок, потом

балагурил с официанткой, пока та наливала ему чай — жидкий, без лимона, зато сладкий, как сироп.

— Ждет меня, — провозглашал он во всеуслышание, тыча в меня пальцем.

Когда он наконец усаживался и снимал каску, обнажая седую, стриженную ежиком голову, у меня мелькала мысль, что вот он и оказался в гардеробе своего театра. Сошел со сцены, выключил свет и вздохнул с облегчением.

— Холодно, — спокойно произносил Че Гевара, грея руки о стакан с чаем.

Он улыбался. Его гладкое, бледное детское лицо никогда не искажалось гримасой.

— Ну как дела? — говорила я, а он отвечал «хорошо» или «плохо», но эти слова вряд ли имели смысл — что значит хорошо-плохо? В его жизни все оценки гуляли сами по себе, по своим собственным дорожкам. Так же бессмысленно было бы уговаривать его принимать лекарства, потому что он не хотел этого делать.

— Я перестаяю быть собой, когда глотаю таблетки, — заявлял он.

М. говорил, что безумие — это своеобразная форма приспособления к окружающей действительности. В нем нет ничего плохого. Главное — не допускать бессмысленных страданий, добавлял он свою любимую присказку, а мы потом ломали голову, бывают ли страдания не бессмысленными. Лишь бы не дать страху скрутить человека — это тоже было его излюбленное словечко: скрутить.

Моей задачей было своевременно отвезти Че Гевару в больницу — в тот момент, когда страдание внезапно покидало свой мирный затон и становилось совершенно невыносимым, опасным для жизни. Когда окружающий мир, внезапно ощерясь, превращался в чудовище, показывал свою подлинную сущность — изначальную враждебность людям. Необходимо было запереть квартиру (ключи оставить у себя), потом навещать Че Гевару в больнице, а когда он выйдет оттуда, вмонтировать его обратно в обычную жизнь. Самой же снова занять свое место в зрительном зале и вместе с другими наблюдать, как он пристаёт к людям на улице, как, завидев его наряд, целые семьи и одинокие немолодые дамы в шляпках и нитяных перчатках застывают в изумлении, а командированные провинциалы убегают, отмахиваясь

портфелем. Бывало, уже попрощавшись, я еще какое-то время шла за ним следом, когда он шагал по улице Новый Свет и по Рутковского с привязанными к поясу котелками, а их звяканье вспугивало сбитых с толку голубей. Некоторые прохожие совали ему мелочь, приняв за нищего. Он брал, похоже, не смущаясь. Однажды я видела, как он увязался за демонстрацией. Паясничал. Печатал шаг. Кричал: «Hände hoch!» или «Гестапо!», вторя пластинке, которая постоянно крутилась у него в голове. Его память остановилась на сорок пятом годе. Че Гевара игнорировал настоящее и, возможно, поэтому мог чувствовать себя в безопасности: он безнадежно устарел. И все равно я за него боялась. Революции не любят клоунов, сами-то они всегда смертельно серьезны.

— Можно пойти в клуб, — предлагала я, имея в виду бывшую прачечную, приспособленную для нужд культуры, куда мы с нашими подопечными приходили выпить чаю, сыграть в шашки или в пинг-понг.

— Мне там не нравится.

— Почему?

— Они там меня психом считают.

— Ты все делаешь для того, чтобы тебя считали психом.

— Я знаю.

— Вырядился партизаном, выкрикиваешь черт-те что на улице, пристаешь к людям, говоришь глупости...

— Да, я знаю.

— Так объясни мне, зачем. Зачем ты это делаешь?

— Не знаю. Может быть, я и есть псих.

— Может быть.

Вечером бастующие студенты осаждали оба телефона, к ним выстраивалась огромная очередь. Мама, как автомат, повторяла одно и то же: «Возвращайся домой. Садись на поезд и возвращайся домой». Отец вырывал у нее трубку и говорил: «Привези мне какие-нибудь материалы». Я залезала в спальный мешок и читала, лежа на столе у батареи. Рядом со мной, на соседнем столе, поселилась парочка со старшего курса, но я не решалась с ними заговорить. Они были заняты только собой.



Бесконечные собрания в актовом зале, голосования за все новые списки требований, председатель забастовочного комитета, постукивающий деревянными сабо по бетонному полу, сохранившемуся с тех времен, когда в здании психфака помещалось гестапо. В этой обстановке меня охватывал, усиливаясь с каждой минутой, революционный энтузиазм. Сладостное ощущение, что ты только винтик огромного механизма, песчинка, маленький фрактал, снежинка, которая осознаёт себя частицей метели. Какое это облегчение — раствориться в общественном бытии, не принадлежать себе, выплеснуться за свои границы, хоть ненадолго. Мы собирались около набитых окурками пепельниц в коридоре, ведущем в актовый зал. Кружки курильщиков пульсировали, их состав менялся, каждую минуту кто-то приходил и уходил. Потом на меня внезапно накатывала усталость, и потребность побыть одной становилась настолько нестерпимой, что я закрывалась в туалете на третьем этаже и сидела там, уставившись на ключья облезавшей масляной краски. Когда кто-нибудь начинал теревить ручку двери, а потом занимал соседнюю кабинку, я замирала, затаив дыхание. После, пристыженная, возвращалась на свой стол и в который раз принималась за чтение книги «Игра в классики», теперь с другой точки зрения, используя иной ключ. Меня взволновало открытие, что можно читать вразнобой, отдельные эпизоды — наверное, так происходит и в жизни — события мелькают перед глазами и складываются в случайные узоры. Я шла вниз, вставала в очередь к телефону, но тут же уходила и направлялась в буфет, оттуда опять в очередь, и всё снова — по той же схеме. На стол, в туалет, в актовый зал, к телефону, на стол, в буфет... Постепенно мне стало казаться, что другие тоже так делают, экспериментируют с порядком и хаосом, и отсюда это беспокойное движение внутри здания, люди, собирающиеся группами на улицах, трепещущие на ветру флаги, воткнутые везде, где можно, и эта внезапно наступающая непроглядная тьма в середине дня.

Город за окном темнел, стекленел. Отсюда, со стола, застеленного спальным мешком, из-за батареи, казалось, что в городе совсем не осталось нормальных человеческих мест, словно новые времена содрали мягкую обивку с окружающего мира, обнажив его бугристый, уродливый остов. Подопытные обезьянки... им предложили на выбор два манекена «матерей»: один мягкий и приятный на ощупь, но не дающий молока, другой — проволочный, холодный, зато с неограниченным количеством молока в искусственных сосках. И маленькие обезьянки выбирали упоительную мягкость голодной смерти. Прижимались слабенькими тельцами к искусственному меху.

Перед сном я молилась за всех живых существ, на которых ставят эксперименты. В том числе за людей.

Тогда я нуждалась в мягкости. Руки непроизвольно тянулись к плюшевым шторам где-нибудь в кинотеатре или ресторане, тосковали по недоступной шенили и бархату, поглаживали вельветовые брюки, пока те совсем не вытерлись, тербели застиранный шелковый платок. Я жаждала нежности влажного весеннего воздуха, ласкового солнца, песка, мягкости аромата настоящего кофе, душистого мыла. От лежания на столе у меня болели все кости, а от колючего ворота свитера на шее появилась красная полоса.

Под моей опекой находился еще Юрек. Мы были ровесниками; жил он с отцом и матерью в забитой безделушками квартире на улице Шасеров. Юрек постоянно убегал из дома, ездил зайцем в поездах, пересаживаясь с одного на другой, — скромный, спокойный, неизменно приветливый. Он умел устраиваться: в дороге его всегда угощали то бутербродом, то яблоком, то леденцом. Юрек знал, как произвести хорошее впечатление. Исчезал он на долгие месяцы. Появлялся усталый и грязный. Мать в бешенстве отвозила его в больницу, но Юрека быстро отпускали. Почтальон приносил ему пенсию, и он снова отправлялся колесить по железным дорогам. Опьяненный путешествием, гонкой вперед, в неизвестность, не давал о себе знать, пока спустя какое-то время милиция или машина «скорой помощи» не привозила его откуда-нибудь из Элка или Сувалок. Мы пробовали укоренить его, как куст, пытались удержать. Я ходила с ним в клуб, где посетители до отупения играли в карты и лото, разгадывали кроссворды. Мы преподносили ему на блюдечке всевозможные увлечения — коллекционирование марок и минералов, авиамоделирование, разведение рыбок. Юрек лишь улыбался и возвращался к теме поездов. Предлагал мне прогуляться с ним на вокзал — мост, дальше по Иерусалимским аллеям. Так мы бродили вместе по перронам, наблюдая, как на электронных табло сменяются станции назначения. Он вставал прямо у красной полосы, чтобы лучше рассмотреть прибывающий состав. Считал вагоны. Он всегда знал, что вот в этом поезде есть один спальный вагон, а в другом — только плацкартные.

— О, «Варс», — произносил он благоговейно.

— Нельзя шататься по всей Польше, — внушала я ему, словно он был ребенком, а я — какой-то абстрактной всеобщей матерью.

— Я знаю, — отвечал он по-взрослому.

— Это опасно, так нельзя жить. Все равно каждый раз заканчивается больницей.

— А нельзя так устроить, чтобы я стал железнодорожником?

— Можно, но тогда нужно поступить в училище.

— А без училища нельзя? — спрашивал Юрек разочарованно.

Меня он называл «королевой Польши».

Несколько лет спустя он зашел к моим родителям. Наверное, запомнил название городка, где я родилась, из наших разговоров. Приехал рано утром, прилично одетый, вежливый. Сказал, что мой знакомый. Мама пригласила его позавтракать, они сидели втроем, беседовали. Почувствовав себя в безопасности, Юрек принялся живописать им мир рельсовых путей, локомотивов, вокзалов и железнодорожников, вселенную постоянного движения, вечной спешки, пересадок, облаков шипящего пара, гудков и перекличек, скрежета стрелок, монотонного грохота, толчеи, напряжения толп, устремляющихся через стеклянные нефы к амвону перронов, к алтарям билетных касс, где священнодействуют начальники станций, совершая свой обряд, а проводники в мундирах подходят к причастию. Святость конечных станций, мистика пунктов назначения, спасение в дороге, в дороге, в дороге.

— Да возрадуется ваша дочь, королева Польши, царица психологии, лесная нимфа, пусть ей улыбнется счастье в жизни и после жизни — кто жилец, кто не жилец, кому начало, кому конец.

Над городком светило майское солнце, в кухонное окно заглядывали ветки лиственницы. Сосед подметал тротуар перед домом. У мамы кусок застрял в горле. У отца в зубах замерла сигарета.

Среди участников забастовки был Кирилл. Станный парень, высокий, с прыщавым лицом, местами покрытым щетиной. В университет его приняли в порядке исключения — благодаря выдающимся способностям, хотя он страдал аутизмом. Идет, бывало, угрюмый, по коридору, а встречные внезапно умолкают в замешательстве, смущенные своей болтовней, переводят взгляд на покрытые масляной краской стены, бросаются тушить сигарету или читать объявления. Во время бурных собраний в актовом зале он обычно стоял в углу, уставившись в пол, в какую-то точку в нескольких метрах от кончиков своих ботинок. Мы невольно пытались проследить за

его взглядом, ища на полу какой-нибудь зацепки, бумажки, монетки, но он смотрел в никуда. Ему покровительствовала Б., которую студенты просто обожали. Она неустанно напоминала нам о необходимости быть терпимыми, о том, что каждый из нас неповторим, что мы будем лечить своих пациентов, не запирая в больницы, что мы изменим мир, что все люди равны и достойны любви, что само понятие психического заболевания порождено репрессивной системой. Если Кирилл брал слово, то говорил складно и логично, хотя и медленно, — мы слушали его с напряжением, ожидая какого-нибудь заскока, отметины, клейма. После его выступления еще какие-то мгновения держалась тишина. Нам нужно было время, чтобы очнуться. Постепенно привычный гомон возвращался к своему начальному уровню.

Казалось, все шло без перемен. Казалось, так могло продолжаться бесконечно — жизнь в аварийном режиме; кто знает, вдруг забастовка — это нормальное положение вещей, естественное и наиболее созвучное природе человека, в отличие от застывшего, затхлого порядка. Но где-то там, под спудом всем становилось невмоготу.

Однажды вечером Кирилл взбесился; со страшным, нечеловеческим воем он бежал по коридору, отталкиваясь от стен. Его дикий рев во внезапно наступившей тишине в стенах бывшего гестапо, на плохо освещенных лестничных площадках, звучал зловеще, бесцеремонно заставляя нас пробудиться от сна голосований, оторваться от списков требований, от идеи непрерывной забастовки. В страхе мы прилипли к стенам.

За Кириллом бежала Б., пытаясь его успокоить, прижать к себе, обнять. Он вырывался. «Кирилл, Кирилл», — повторяла она монотонно, словно желая его усыпить. Наконец он позволил себя остановить, а Б. и еще несколько человек с отделения клинической психологии отвели его в какую-то аудиторию. Преподаватель по гуманитарной психологии велел нам всем разойтись. Мы пытались раствориться в длинных коридорах, в аудиториях, но и туда доносился этот ужасный рев. Я слышала глухие удары, это Кирилл бился головой о стену.

В конце концов вызвали «скорую». Немного погодя мы увидели, как выводят Кирилла в смиренной рубашке.

Кто угодно сойдет с ума, сидя тут взаперти, — переговаривались мы между собой, — в этих душных прокуренных коридорах, где хоть топор вешай, а изо всех окон видны только серые кубики многоэтажек, торчащие между голыми деревьями, да земля в бело-коричневых пятнах, как

зимний армейский камуфляж. Скорее бы все это кончилось. Разойдемся по домам.

До пани Анны мне было ближе всего — Новый Свет, первая арка за кондитерской Бликле, большой двор между домами, образующими не совсем правильный квадрат. Песочница, две лавочки, бетонные ограждения помоек, несколько кленов, кусты с белыми шариками ягод. Квартира пани Анны была на пятом этаже, высоко, поэтому она так неохотно ее покидала. Коридорчик, комната и кухонька. Балкон выходил на Новый Свет. Пани Анна смотрела на улицу сквозь тюль — и, наверное, видела ее, всю разрисованную геометрическими узорами, нерезко, как сквозь туман. Два раза в неделю она спускалась вниз, делала какие-то жалкие покупки в пустых продуктовых магазинах, а потом шла в «Любительское» выпить рюмочку коньяка (от кофе она давно уже отказалась). Там мы с ней иногда назначали встречу. Случалось, что какое-то время мы сидели за столиком вместе с Че Геварой, но ей это не нравилось. Пани Анна смотрела на его выходки и кривлянье неодобрительно.

— Возьмите себя в руки! — шикала она на него, поднося рюмку ко рту. Только когда Че Гевара уходил, позванивая котелками и гильзами от патронов, нанизанными на веревки, она произносила:

— Все хуже и хуже. Пью теплое молоко, кладу к ногам грелку — без толку. Не сплю целую ночь, редко когда задремлю на четверть часа, но это какое-то мучительное, тягучее, бессмысленное забытие. Ах, дитя мое, что делать, что делать? — вопрошала она драматически и сжимала мне руку худыми пальцами.

— Может, вы мало бываете на свежем воздухе? — наивно спрашивала я; это была наша давнишняя игра.

— Ах нет, дитя мое, я проветриваю каждый вечер не менее получаса, — отвечала она.

— Может, вы слишком плотно едите на ночь? — делала я вторую попытку.

— Нет-нет, дорогая, позже пяти я не ем.

— Можно попросить выписать вам таблетки, — раскрывала я наконец карты.

Тогда она откидывалась на стуле и на мгновение замирала в позе оскорбленного достоинства.

— Я этого никогда не позволю, никогда, — выдыхала она в конце концов. — Это чревато катастрофой, не знаю, какой, но точно чем-то ужасным.

— Пойдемте пройдемся, пани Анна.

Это все, что я могла ей предложить.

Мы шли по улицам Фоксаль и Коперника, а потом возвращались по Свентокшиской обратно на Новый Свет. Или в другую сторону, к реке; за рекой открывались манящие просторы, которые, наверное, влекли нас обеих, хотя мы никогда об этом не говорили. Углубиться в прибрежные заросли, идти вдоль реки, подчиняясь направлению ее извечного движения, покинуть город, забрести далеко в скованные морозом поля, шагать по проселочным дорогам, пересекая обозначенные ивами межи. Может, дойти до моря, а может, наоборот — двинуться на юг, через горы, на большую равнину. Сбросить сначала шапки, потом варежки и в конце концов оставить на краю виноградника зимние пальто. Все глубже погружаться в удлиняющийся день, чтобы тело омывал свет.

Она всегда дрожала, независимо от погоды. Закусив губу, внимательно рассматривала каждый метр тротуара, поручни, ступеньки, мыском ощупывала бордюрный камень. Иногда, заметив какую-нибудь дыру, изъяз, пятно ржавчины, она бросала мне заговорщический, скорбный взгляд. Так мы шли вдвоем, тепло закутанные.

Она приказывала мне смотреть внимательнее. Я смотрела и видела город — неизменно серый, всех оттенков серого, неприятный на ощупь, холодный, шершавый, треснувший пополам, с раной реки посередине. Редкие автобусы беззвучно катили по мостам и сразу возвращались обратно. Люди раздваивались, отражаясь в огромных потемневших стеклах витрин. У всех изо рта вырывался белый пар, словно душа, нерешительно покидающая тело. Однажды она спросила меня, где я живу, и, узнав, что на Заменгофа, от ужаса прикрыла ладонью рот.

— Разве можно строить дома на кладбище? Они должны были отгородить руины гетто от остальной страны и сделать там настоящее кладбище, музей. Впрочем, так надо было поступить с целым городом. Кто мешал заново построить Варшаву где-нибудь около Ченстоховы, поближе к Деве Марии, или над Наревом, там так красиво. Уезжай оттуда, дитя мое.

Я много раз обещала, что так и сделаю, и провожала пани Анну домой, в ее высокую и узкую, как скворечник, квартиру. Стряхивала ей снег с пальто, заваривала чай «Мадрас» в белом фарфоровом чайнике и ставила вариться картошку. Она меня теребила:

— Говори со мной, спрашивай, отвечай, я хочу устать и уснуть, я наверняка усну, когда ты уйдешь.

Ну я и несла, что приходило в голову. Рассказывала ей о забастовке, о переменах, которые должны наступить, о разных людях, но, вообще говоря, это был странный монолог. Мир за окном квартиры пани Анны казался нереальным, тревожил отсутствием жизни. Там, внизу, ничего не менялось: лозунгов с такой высоты было не разобрать, шум любой манифестации терялся в лабиринте дворов и расходился эхом в виде одной стертой фразы, утратившей уже всякий смысл. Город состоял из крыш, антенн и труб — он был построен для птиц и облаков, для вечно хмурого неба, для темноты. Не для людей.

— Видишь, дитя мое, это уже конец. Видишь, как там, на горизонте, все расплывается, видишь?

— Это всегда в такую погоду, — успокаивала я ее.

Наверное, мы тогда против воли были втянуты в какую-то космическую войну. Может, это планеты делили сферы влияния? Да, наверняка что-то такое было. Люди охотились друг на друга, стреляли с близкого расстояния — в Папу римского, в Рейгана, в Леннона. Казалось, все вот-вот превратится во что-то другое, совершенно пока неизвестное. Действительность постоянно меняла очертания. То ли видимость, то ли реальность маячила на пороге, застряв в дверях. Колыхалось на солнечном ветру марево миража.

— Мир — это мой сон, — говорила пани Анна, бережно ополаскивая в раковине чашки, из которых мы пили чай, и старательно вытирая ложечки кухонным полотенцем. — Он мне снится, хотя у меня проблемы со сном. Ты не можешь мне помочь, — продолжала она. — Никто не может. Ты просто приходишь сюда, и мы разговариваем. Мир гибнет, это уже конец.

Я ей не верила, но спускать ее с небес на землю мне уже не хотелось. Почему все должны стоять на земле, говорила я себе. Нет ничего плохого в том, что человек думает, будто от него зависит существование мира, будто он несет его на своих плечах, как атлант. Будто он его спасает, умирает за него. В

известном смысле в этом есть доля правды. В известном смысле в этом великая правда.

Онтология пани Анны была такова: она думала, что ее сон спасет мир. Когда она спит, мир — уже подпорченный, износившийся, истрепанный — восстанавливается. Заснув, она все спасает от гибели. Никто об этом, конечно, не догадывается, ведь мысли окружающих, к сожалению, такие плоские («как лист бумаги», по ее выражению), и только она, я и ее врач знают правду. Даже дочь пани Анны — хорошо знакомое всем лицо с экрана телевизора — ни о чем не подозревала. Она лишь отвозила мать в больницу, когда подавленное настроение и бессонница переходили у той в затяжную депрессию.

— Почему именно вы? — спросила я пани Анну во время нашей первой встречи. Она тогда заставила меня разрезать разгаданные кроссворды на квадратики, из которых складывала гигантские мозаики. И лишь выдержав паузу, таинственно подняла палец и жестом Иоанна Крестителя указала на небо.

Но как же ей спасти мир, если не получается заснуть? Она показывала мне глазами на толкающихся в очередях людей, на транспаранты на корпусах университета — все это происходит потому, что она, пани Анна Топель, учительница польского языка на пенсии, всю жизнь прожившая на улице Новый Свет, страдает бессонницей.

Мы пили плохой чай «Мадрас» из красивых позолоченных чашек, и она говорила, что мир нуждается примерно в восьми часах ее сна. Это не так уж много. Но, продолжала пани Анна, ей удается забыться беспокойным сном всего на час-два, да и то лишь под утро. И сквозь дремоту она слышит, как трещит основание мира. Правда, врач прописал ей таблетки для улучшения сна и настроения, но она не может их принимать. Нельзя манипулировать объективными законами бытия при помощи примитивной фармакологии. Трудно было с ней не согласиться. Я раздала карты для виста — самой нудной карточной игры в мире. Делать ей примочки из скуки, лить на нее струйками спокойствие, низать слова, никогда не доходя до сути, нагнетать тишину, разводить чай водой, как гомеопатические капли, мурлыкать под нос колыбельную. В этом заключались мои чары.

Однажды я увидела, как она заснула в кресле, свесив голову набок. У нее было спокойное, прекрасное лицо. Я невольно подошла к окну, чтобы самой во всем удостовериться. Из-за



низких, несущихся по небу осенних туч выглянуло солнце и растеклось по крышам домов.

Я приехала к нему на трамвае в субботу после обеда, только узнать, все ли в порядке. Забастовка перешла в бессрочную, на завтра в университете был назначен грандиозный митинг, а сегодня вечером — еще какое-то собрание.

Че Гевара долго не хотел мне открывать. Я слышала его дыхание из-за двери, оклеенной газетами, шелест ресниц за дверным глазком.

— Пароль? — спросил он.

Я произнесла первое пришедшее на ум слово, сейчас уже не помню, какое: небо, лист, котелок, — и тогда, после секундной заминки, замок щелкнул, и дверь открылась.

Выглядел он плохо. Без своих дурацких атрибутов, этих гранат на поясе, каски и армейских знаков различия, в одном синтетическом спортивном костюме серого цвета, он казался голым. Его била дрожь; маленький старичок-заморыш — теперь он был весь как на ладони. Никакой не ребенок, не заигравшийся подросток — худенький, рано постаревший человек, не знавший ни детства, ни зрелости. Из младенца он сразу превратился в старика. Теперь ему приходилось наверстывать упущенное. Шаркая шлепанцами, которые были ему велики, он повел меня вглубь своей заваленной газетами однокомнатной квартирki. Окна были занавешены старыми полотенцами. На карнизы под потолком тоже были накинута полотенца. Он стучал зубами — то ли от страха, то ли от холода. Из рта у нас выходил пар, как рисуют в комиксах.

Че Гевара сказал, что за ним следят с самого утра. Сначала с улицы, а теперь залезли на дерево и в бинокли и подзорные трубы смотрят прямо в окна. Поэтому он их завесил. У меня чуть не сорвалось: кто, кто за тобой следит, кто посягает на твою жизнь, бедный псих, — но я сдержалась. Прикусила язык. Любые разговоры на эту тему лишь помогли бы ему укрепиться в своих безумных фантазиях; каждое слово, каждая попытка описать преследователей прибавляла бы им достоверности. Поэтому я промолчала; принялась готовить суп-пюре из пакетика. Он смотрел с надеждой, ожидая от меня что-нибудь услышать, его трясло все сильнее. Я включила обогреватель.

— В больницу поедешь? — спросила я его, когда мы пили горячий суп из кружек.

Он ответил, что уже поздно.

— Я позвоню в «скорую», — сказала я.

Он подскочил к двери и загородил ее спиной.

— Ни за что. Отсюда нельзя выходить. Ты попала в окружение. Сейчас они начнут ломиться в дверь.

Я неуверенно шагнула к нему, чувствуя, что без драки мне не выйти. Он меня не выпустит.

Че Гевара словно читал мои мысли. Схватил меня за руку, стиснул ее. У нас обоих побелели пальцы. Во внезапном остром приступе паники я поняла, что не знаю, как поступить, что придется выпутываться самой и что для этого обезумевшего от ужаса мужчины я должна стать воплощением спокойствия и уверенности. Усмирить его дрожь, заманить в сети его страх, успокоить. Я положила Че Геваре руку на спину, укутала его в одеяло. Обняла. И почувствовала, что мой испуг улетучивается, как дым. Вот я превращаюсь в широкую плоскую равнину, незыблемую часть пейзажа. Все в порядке; я пообещала ему, что не уйду, пока он сам того не захочет. Я вспомнила о пани Анне: что она не спит и что спасти мир может только сон — ее сон и наш сон. Только тогда мы придем в себя, наш сон залатает все дыры, через которые наружу пробивается сплошное зло, сплошная чернота.

— Спать, Че Гевара, спать, — повторяла я.

Я монотонно перечисляла предметы, которые погружаются в сон, словно читала литанию: засыпают остановки и дорожные знаки, уличные фонари и ступеньки у входа в магазин, автомобили и трубы на крышах, деревья, бордюры тротуаров, велосипеды, перила моста, трамвайные пути и урны, фантики и окурки, использованные автобусные билеты и пустые бутылки от пива. И все улицы в районе Саской Кемпы — Французская, Защитников, Храбрых, Афинская и Саская, — и улицы в других районах, наконец, сами районы и города. Катовице и Гданьск. Валбжих и Люблин. Белосток и Мронгово. Сон стелется низко над землей, как гром, как черный теплый дым. Заволакивает всю страну странным дурманом. Везде люди подносят руки к лицу и трут сонные глаза. На дороге под Калишем автомобили тормозят на обочинах, а водители укладываются спать в кювет, прямо в снег. Поезда останавливаются и дремлют среди полей, корабли на рейде размеренно покачиваются, портовая сирена зовет ко сну. Засыпают верфи, и замирают ночные конвейеры на фабриках.

Зевает диктор телевидения и вскоре ложится спать на глазах изумленных зрителей, у которых тоже слипаются глаза.

Я обнимала его так, как обнимают детей, и не было в этом ничего непристойного, ничего против правил, потому что мы оба были одинаково малы и незначительны. В этой крохотной, замусоренной квартирке с собственным электрическим солнцем мы поднимались над большим морозным городом, как мыльный пузырь — отдельная вселенная с хрупкими прозрачными стенами. Мы медленно вращались вокруг невидимой оси. Я почувствовала, как тело Че Гевары обмякает и становится тяжелым, словно созревший плод, готовый упасть на землю, чтобы впредь черпать из нее добрую силу, которая уже не даст сдуть его, как обертку от конфеты. Мне казалось, что между нами с торжественным скрежетом открылись шлюзы — большие речные ворота — и что, раскачиваясь, мы нажали кнопку, запустили мощный механизм, который уже не остановить: наши реки, его и моя, сливались в одну, встречались, соединяя и смешивая свои воды, и на какое-то мгновение мне показалось, что так и должно быть, что я заберу его страх и растворю его в себе, как льдинку в теплой воде, что по сути, если бы все это можно было взвесить и подсчитать, если бы можно было измерить уровень его страха и моего спокойствия, я взяла бы верх: я шире его, и меня больше. Моя река теплее, она нагуляла тело на равнинах, нагрелась на солнце. Он — всего лишь маленький ручеек, ледяной и беспокойный. Стоило мне так подумать, как я испугалась, потому что начала терять свои границы. Маленький ручеек разливался и бурлил, с силой врываясь в реку, взрывая дно. Он нес с собой ил, становился мутным, атаковал с нарастающей яростью. Но все это свершалось подспудно, внешне никак не проявляясь. Че Гевара закрыл глаза и вздохнул. Мне казалось, что он сейчас заснет. Но там, внутри, начиналась борьба, происходили стычки, совершалось насилие, осуществлялось вторжение. Там этот невинный старичок шел напролом, вынуждая меня подстраиваться под панический ритм его дыхания. Изнутри шли, расплываясь, как круги по воде, волны паники. Мелкие осколки льда превращались в дрожь, которая постепенно охватывала все мое тело. Я еще пыталась убежать от чего-то страшного, оскаленного, безобразного, но уже знала, что убежать невозможно. Потому что это было конечное состояние, основное состояние человека. Все остальное — лишь видимость. И внезапно я осознала, что он, Че Гевара, прав, — почему же мне это раньше не пришло в голову? — за нами следят с деревьев, для нас готовят самые страшные камеры пыток, о нас знают всё. Какие-то размытые фигуры, темные силуэты, сотканые из тени, но соединенные

скользкими пуповинами с черным нутром земли. Вот именно, почему бы им не сидеть на деревьях, если прекрасно известно, что они способны на все? Почему бы им не следить за нами в бинокль с тополей под окном? Как это могло показаться мне абсурдным? Десятки мужчин, крадущихся по темным переулкам в темных плащах; спрятанные во дворах милицейские воронки; тихий треск радиостанций, приборы ночного видения со стебельками оптических датчиков, наведенных на каждое окно. В их тайных логовах целые тонны аппаратуры, какая нам и не снилась. Они держат руку на пульсе каждого из нас. Они манипулируют историей, дергают за веревочки, разжижают нам мозги, вынуждая видеть только то, что им угодно, и мы это видим. Подсовывают нам готовые мысли, и мы их озвучиваем. Печатают лживые газеты, в которых подают мир таким, какой их устраивает. Заставляют верить в то, чего нет в природе, и отрицать очевидное. И мы всё это делаем. Они косят под наших друзей, и я даже — да, да! — не до конца уверена, что мое отражение в зеркале — это действительно я.

Я вскочила поправить полотенца на окнах, на всякий случай завернула газовый кран. Подошла на цыпочках к двери — проверить, закрыты ли все замки. Он следил за мной проницательным взглядом.

— Поняла? Поняла? Я же говорил! Говорил, — бормотал он.

Мы до утра просидели на разостланных на полу газетах, прижавшись друг к другу. В моем мозгу всю ночь расцветали странные мысли, похожие на те тусклые белые цветы, которые вырастают на оконных стеклах в морозную ночь. Я их стирала, а они снова росли, хотя с каждым часом все неувереннее. Может, их растворял приближающийся рассвет. В конце концов я, должно быть, уснула, потому что меня разбудил голос и бульканье воды в чайнике.

Стоя у плиты, Че Гевара прилаживал к поясу пустую картонную кобуру. Полотенца уже были сняты, в окно лился зимний металлический свет.

— Уже всё, — сказал он. — Они ушли. Но вернуться.

Я чувствовала себя одурманенной, будто выкурила целую пачку сигарет, будто только что очнулась после обморока. С недоверием оглядывала квартиру. Подозрительно всматривалась в голые кроны деревьев. Читала заголовки разбросанных всюду газет. У меня был приступ страха, я пережила психотический эпизод, думала я. Че Гевара меня

заразил, я позволила себя инфицировать, он меня загипнотизировал, я поддалась внушению.

— Че, мы едем в больницу. Я пошла звонить.

Он без возражений принялся собираться. На улице мои мысли стали постепенно приходить в порядок, отряхиваться, словно мокрые собаки. Подтягиваться, сбегаться на общий сбор. Занимать свои места, строиться в шеренги. Рассчитываться по порядку номеров. На улицах пусто, но ведь сегодня воскресенье. Сегодня митинг. Номер «скорой». Пани Анна — позвонить ей и спросить: может, хоть она этой ночью хорошо спала.

Я вошла в телефонную будку и несколько раз набрала номер, но аппарат, наверное, был сломан. Ни одного трамвая. Я шла пешком на другой берег, пока не увидела с моста, как по Иерусалимским аллеям с грохотом движется колонна БТРов.

*Перевод Марины Курганской*

## ПЕРСОНАЖ

В монографии о его творчестве, которую он начал читать за утренним кофе, обнаружилась неточность. Дело в том, что роман «Открытые глаза вещей» вышел в 82 м году, а не в 84 м. По какой-то причине исследовательница не упомянула первое, западное издание. Исправив карандашом ошибку, он закурил первую сигарету. Теперь ему осталось только четыре — приходилось себя ограничивать. Врач заявил, что в его возрасте следует вообще бросить курить. Однако он знал, что без курева не будет и писать. Между затяжкой табачным дымом и работой существовала прямая зависимость. Дым, наполняя легкие, каким-то образом тревожил память: наверно, у дыма и памяти одна и та же природа — летучие полоски, неожиданно скручивающиеся в кольца, завитушки, полупрозрачные наслоения, которые на мгновение застывают в притворной конструкции и бесповоротно исчезают. Чуть сосредоточившись, можно было каким-то непонятным чудом обратить эту эфемерность в слова и предложения.

Он перелистнул несколько страниц, и в глаза вдруг бросились слова: «Герой этого поразительного рассказа, alter ego автора, носит его имя и даже проживает по тому же адресу — Варшава, близ Иерусалимских аллей». Затянувшись, он несколько раз перечитал фразу. Вспомнил то время, двадцать лет назад, когда писал «Открытые глаза вещей». Страшная пора, безнадежная. Казалось, что это уже конец света, а на самом деле все закончилось хорошо. Но что это значит — хорошо, плохо, — подумал он и бросил жадный взгляд на оставшиеся до конца дня четыре сигареты. Работалось тогда хорошо. Смутное отчаяние, ощущение, что жизнь идет как попало, абсурдно, придавали перу размах, пестовали слова, словно заботливая мать, вскармливая целые абзацы, раскрывая тайну сказочных, нереалистических связей, как на блюде подсовывая готовые образы. Сегодня все сделалось каким-то бумажным, хотя на вид вроде прочно, а попробуй описать — придется продираться через напластования мусора, истлевшие клочья событий, крупницы мгновений. Нормальная жизнь оказалась неинтересной, заполненной мелкими проблемами, незначительными деталями, что песком сыпались из утренних газет и тут же покрывались пылью.

Самборский встал, поглядел на сигареты и решил пройтись. Он набросил только пиджак — погода была отличная. Обычным своим маршрутом, через проходные дворы и подворотни выбрался на центральную улицу, свернул на площадь с костелом и сразу оказался в своем любимом кафе. По дороге с ним раскланялись несколько человек, в том числе молодые люди с рюкзаками. Увидев писателя, они остановились и продолжали стоять, когда он с улыбкой поздоровался в ответ, проходя дальше. Такие встречи были одновременно приятны и неприятны. Они напоминали Самборскому, что он навсегда остается собой и ничего другого из него уже не получится, тогда как перед некоторыми, вроде этих ребят с рюкзаками, еще целое море возможностей, целая пачка ролей на выбор, гигантская корзина «киндер-сюрпризов» — они еще могут стать кем только захотят. А он — нет. Он уже определен. Самборскому даже подумалось «кончен», и от этого слова повеяло чем-то неприятным. Холодным затхлым воздухом, будто из погреба. Порой ему казалось, что на лбу у него привинчена медная табличка: «Станислав Самборский, писатель». Как и сейчас — стоило войти в кафе, как все взоры украдкой обратились к нему, но тут к нему привыкли, и обычный гул в кафе даже не дрогнул. Он подошел к стойке, обменялся с официантками приветственными улыбками и сел за столик. Заказал «черный завтрак»: кофе и пачку сигарет — теперь тех четырех, что лежат на письменном столе, хватит до вечера. Знакомая официантка по собственной инициативе принесла два бутерброда с его любимым яичным паштетом. «Утром надо поесть как следует». Он не возражал. Взял газету и спокойно принялся за чтение, ощущая себя в центре мироздания.

Того Самборский встретил уже на своей лестничной площадке, перед своей дверью: склонившись, он шурувал с замком. Писатель целую минуту — круглую, большую, жирную, словно муха, — не мог прийти в себя от изумления. Тот на первый взгляд казался знакомым, больше чем знакомым — едва ли не двойником, отвратительным и мерзким. Редкий ежик седых волос, землистый цвет лица, тщедушная фигура в клетчатом пиджаке, дорогие, но потертые ботинки. Самборский хотел что-то сказать, но тут замок щелкнул, дверь открылась, и тот первым молча вошел в квартиру. Потрясенный, писатель последовал за ним. Тот его будто и не замечал. Уселся за стол, взял карандаш и принялся читать. Со знанием дела помечал что-то на полях, подчеркивал целые фразы. С отвращением отодвинул пепельницу, потом выбросил в мусорную корзину четыре оставшихся сигареты. Когда зазвонил телефон, Самборский даже подойти не успел. Уверенно подняв трубку,

тот уже протянул: «Да а?» Слушая, он принял сосредоточенный вид, и морщина у него на лбу резче обозначилась, придав всему лицу какое-то серьезное, даже трагическое выражение. Помолчав, он произнес: «Литература — это вызов. Только ей под силу очертить границы человеческого существования и в то же время придать ему трансцендентное измерение. Жизни как таковой слишком мало. Прошу прислать мне текст на авторизацию», — и повесил трубку. Посидел еще минуту в молчании, подперев лоб ладонью, пока наконец не принялся расхаживать по комнате, заложив руки за спину. Вот тут Самборский его возненавидел.

Самое удивительное, что тот совсем не ел. Только пил кофе. И, как позже выяснилось, жрал водку. Однажды поздним утром Самборский увидел его в своем любимом кафе, за столиком, в окружении молодых людей, буквально смотревших ему в рот. Самборский остановился на тротуаре и наблюдал за этой сценой через большое окно. Тот о чем-то рассказывал, поводя в воздухе руками. Морщил лоб, умолкал на мгновение и задумчиво, откуда-то знакомым Самборскому жестом потирал подбородок. Затем, по-детски подняв указательный палец, продолжал ораторствовать. Сперва Самборский, разумеется, хотел войти и устроить скандал: это, мол, его столик, его знакомые студенты и даже — о да! теперь-то он понял — его жест. Он уже было двинулся к двери, вне себя от возмущения, когда увидел, как тот размашистым, чуть театральным жестом подносит к губам стопку и лихо ее опрокидывает. У студентов от восторга и изумления глаза на лоб лезут, а тот, даже не закусывая, витийствует дальше. Водку Самборский практически никогда не пил, и не потому, что не хотел — напротив, он бы с удовольствием! — просто не получалось. В стране, где пьет и стар и млад, писатель родился трезвенником. От выпитой залпом рюмки его бы точно стошнило. «Пьяница», — буркнул он себе под нос, на самом деле сглотнув горький комок восхищения. Задетый за живое, Самборский не стал заходить в кафе и двинулся дальше. Неподалеку был маленький бар, переделанный из столовой, что находилась здесь в добрые старые времена; там он и примостился в уголке, заказав бокал пива и закулив сигарету. Глядел на каких-то коротко стриженных, увешанных цепочками парней, которые вполголоса, склонившись друг к другу, что-то обсуждали. Шоколадная от искусственного загара официантка скучала над иллюстрированным журналом. По радио передавали незамысловатую ритмичную песенку с симпатичным припевом: «Моя милая сестрица кувыркаться мастерица». Самборскому здесь понравилось. Он поудобнее устроился в своем уголке, закурил — и вместе с колечками дыма поплыли



настоящие, завершённые фразы. Он неспешно записывал их на салфетке.

Тот вернулся вечером, слегка навеселе, с гвоздикой в бутонарьке, что Самборский счел просто верхом претенциозности. Омерзительный тип, фанфарон. Глаза бы его не видели — тошнотворный, словно желе из просроченного желатина, затверделый студень, холодец в человеческом обличье, — было в нем что-то свинячье, какое-то животное самодовольство. Самборский побрезговал бы даже прикоснуться к нему. А тот, не глядя на писателя, сразу схватил трубку и принялся звонить. Кому-то заявил протест по поводу недостаточного финансирования университетов. Кого-то заверил в своей поддержке, правда, кого и по какому поводу, Самборский не слышал, потому что в этот момент стирал в ванной носки, решив не иметь с тем ничего общего. Но, направляясь в спальню, увидел, как тот склонился над вынутой из пишущей машинки страницей: с озабоченным видом он что-то черкал и дописывал. «Тоже мне стиль: целую минуту — круглую, большую, жирную, словно муха, — не мог прийти в себя от изумления», — заметил он вдруг, ткнув листок писателю под нос. Самборский вырвал у него страницу и поспешно собрал лежащие на письменном столе бумаги. «В это не смей соваться. Остальное, так и быть, забирай, а об этом и думать забудь», — процедил он. Однако тот иронически усмехнулся: «Шика тебе не хватает, Самборчик. Может, пишешь ты и неплохо, но шика в тебе нет».

И еще одна странность: тот совсем не спал. Просиживал за столом ночи напролет в этой своей позе, воплощавшей тревогу и сосредоточенность. Горела лампа. Загляни кто-нибудь в окошко, сразу бы догадался: писатель работает. Писатель размышляет о каких-то важных проблемах. Писатель плетет в своей писательской голове очередную повесть о мире и смысле. Ум его прозревает безбрежные перспективы, мысль высвобождается из шкатулки, в которую ее заключили невежество, косность, бездушие, примитивность. Ему ведомы границы познания. Абсурд истории. Одиночество человека. Добро и зло. Надежды и ловушки релятивизма. И, разумеется, прекрасное. Куда же без вопроса о прекрасном...

А Самборскому мешала эта чертова лампа в кабинете. Узенькие полоски света, просачиваясь под дверь, складывались на полу в таинственные графические узоры. Писатель беспокоился по поводу родительского склепа, который в эту зиму — видно, из-за морозов — предательским образом раскололся пополам. Идти, что ли, ругаться с каменщиком? Потом ему почему-то

вспомнились школьная учительница и ее платье. Это когда они еще жили за Бугом. Словно наяву он увидел узор на ткани — по черному полю белые цветы с неровными середками цвета фуксии. Казалось, протяни руку — и пальцы ощутят холодный материал. Ситец, шелк, креп-жоржет? Под эти видения он и уснул, но пробуждение оказалось не из приятных. Тот стоял над ним, заложив руки за спину, — свежий, причесанный, выбритый. «Ты бы, Самборчик, написал что-нибудь о роли писателя в современном мире. О задачах литературы. Вправе ли мы требовать, чтобы она описывала современность, свидетельствовала о происходящих на наших глазах переменах». — «Катись ты ...», — сказал Самборский и сам перепугался. С самого детства он терпеть не мог ругаться. «А ты себя ... не посылай, — парировал тот. — Вставай и берись за работу. Лентяй. Двоечник».

К счастью он ушел, но бреясь Самборский, услышал его голос по радио. Тот рассуждал о роли литературы. Неприятно удивленный, писатель застыл с бритвой в руке. Вечером того же дня Самборский увидел его на экране телевизора. Задумчиво потирая подбородок, тот высказывался о порнографии и эвтаназии. Самборский пришел в ярость. Бросившись к двери, он запер ее на все замки, а потом еще забаррикадировал тяжелым комодом. Ближе к ночи злорадно слушал, как тот пытается войти.

Несколько дней писатель просидел в пустой квартире на осадном положении. Не подходил к телефону, не включал телевизор. Закончилась еда в холодильнике и мыло. Погубили Самборского сигареты. Сначала он терпел, но к вечеру третьего или четвертого дня понял, что это выше его сил. Он надел плащ и поглубже надвинул шапку. Беспокойно оглядываясь, добежал до киоска на углу. Никого. Купив вожаделенные сигареты, Самборский тут же закурил. Увы, по возвращении домой писатель обнаружил того за столом — он с любопытством просматривал записи последних дней. Был бы у Самборского пистолет, он выстрелил бы тут же, не задумываясь. Был бы нож — кинулся бы и вонзил тому в спину. Но не было — и писатель стоял с блоком сигарет, вне себя от злости. «Чего тебе от меня надо? Катись отсюда!» — процедил он. Тот оглянулся через плечо, взглянул на Самборского не то высокомерно, не то равнодушно и произнес: «Не мешай мне. Я работаю». — «Ах так, — подумал, закипая от ярости, писатель, — ты работаешь! За моим столом, над моими рукописями, наглец, козел!» В глазах у него потемнело, и он бросился на того, пытаясь одной рукой вырвать рукопись, а другой — ухватить за воротник. Но тот оказался проворнее. Схватил Самборского за запястья,

больно сдавил и оттолкнул. Со стены упала красивая гравюра, посыпалось стекло. Тот прижимал писателя к стене, словно девушку; он был крупнее, как-то упитаннее, здоровее. От него исходил запах кофе. Устремив на перепуганного подобным оборотом Самборского холодный желеобразный взгляд, он выдохнул писателю прямо в лицо: «Я тебя придумал, понимаешь, ты, ублюдок недоделанный. Я тебя придумал и в любой момент могу вычеркнуть, ты просто повествователь, лирический герой, неудачный персонаж, не более того. Так что не трепыхайся — сиди тихо». Он брезгливо отпустил Самборского и вернулся к столу. Писатель потер ноющие запястья, а потом тихонько, стараясь не мешать тому, принялся подбирать с пола осколки. Гнев улетучился — более того, глядя на испорченную гравюру, он ощутил неожиданное облегчение. Всё всегда оказывается проще, чем кажется поначалу. Перед глазами у него стоял тот бар в переулке и загорелая до копоты официантка.

Чего тут думать... Писатель Самборский поглубже натянул шапку и вышел из дома.

*Перевод Ирины Адельгейм*

## НОВАЯ КНИГА

Инга Ивасюв, видный литературовед и в то же время одна из главных представительниц феминистского течения в современной польской словесности, пишет в статье, посвященной литературному творчеству женщин после 1989 года: «Литературная миссия, историей предназначенная польской литературе, после 1989 го как будто ослабевает. Этот великий демократический поворот дает надежду на сокрушение монолита универсальных тем, прежде всего — на то, что понятие универсальности будет переопределено, в частности благодаря введению перспективы пола в гуманитарный дискурс». К авторам, которых почти все признают представительницами нового течения, часто относят Ольгу Токарчук (1963 г.р.). Но правильно ли?

Сама писательница от феминистического подхода не отрекается — наоборот, в ряде интервью выражает с ним солидарность. Однако при внимательном анализе ее творчества — пользующегося у читателей успехом и, даже более того, необычайно популярного, — с трудом отыскиваешь связи с феминизмом. Эта литература, распростертая от реалистического повествования до полуфантастического сочинительства, заведомо представляет собой попытку того самого переопределения понятия универсальности, но такого, которое скорее уберегает ее, чем сокрушает. Уже ее первый роман «Путешествие людей Книги» (1993) был попыткой реконструкции мифа о Книге, в которой записан смысл человеческого существования. По сюжету к цели приходит лишь один из искателей — немой и неспособный ее прочитать слуга одного из героев, фигура, о которой мы читаем, что «лицо во всей этой истории не имеет значения». Рассказчику, разумеется, верить не следует: это лицо имеет значение по многим причинам. Во-первых, потому что это именно лицо, личность, а это в прозе Токарчук вопрос основополагающий; во-вторых, потому что он представляет «каждого из нас», т.е. одного из тех, для кого отыскать Книгу маловажно по сравнению с трудами повседневного существования и кто умолкает, оказавшись перед лицом Истины.

Но Истина существует, хотя ее и не удастся уловить. Такую мысль несут следующие книги Токарчук — «Э.Э.» (1995), роман о несбывшихся мечтах, которые перед лицом реального мира

оказываются пустыми призраками; «Правек и другие времена» (1996; роман был также инсценирован и поставлен в театре), произведение о творческой силе воображения, разрушающейся в столкновении с реалиями жизни; «Дом дневной, дом ночной» (1998) — своеобразный, как написала одна рецензентка, «апофеоз поворота назад от взросления», т.е. вывернутая наизнанку схема «романа воспитания». То же самое и с новыми сборниками рассказов: «Игра на многих барабанах» (2001) и «Последние истории» (2004). Токарчук в совершенстве играет существующими литературными условностями, одновременно умея их безболезненно для читателя видоизменять и даже подрывать. При этом здесь нет никакой демонстративности — наоборот, перемены, заставляющие «переопределить понятие универсальности», принадлежат к «ходу жизни», они так же естественны и почти незаметны, как перемены в стиле и условностях или перемены во нравах.

Однако это последнее в прозе Токарчук чрезвычайно важно, хотя в отличие от выступающих «под флагом феминизма» она показывает скорее осторожно, нежели демонстративно. Ибо речь идет не о нравах в узком, популярном понимании — речь идет о переменах восприятия, об открытости к другому, о способности сочувствовать и понимать. В отличие от феминистских фундаменталисток Токарчук не стремится шокировать. Она рассказывает о человеческих судьбах, реконструирует пространство воображения, но вверяет все это традиционному повествованию, почти такому, как в XIX веке. Искусство рассказывать — самый сильный козырь ее прозы; женский способ восприятия здесь ничему не противопоставлен — он один из многих и поэтому представляет собой самоочевидность. И, что важно, в этих повествованиях есть место истории — как великой, так и «малой».

# ВЫСОЦКИЙ - ФИГУРА ПОЛЬСКОГО МЫШЛЕНИЯ О РОССИИ?

Впечатляют случаи, когда представитель одной национальной культуры начинает играть роль в совсем другой культуре. Поэт и певец, смерть которого Россия и Польша оплакивали четверть века назад, по-польски не пел и в польских фильмах не снимался – тем не менее его образ программировал польскую культуру в невероятной степени. Нельзя, правда, сказать, что сегодня его песни по польскому радио звучат часто. Нельзя также сказать, что "известнейшая в мире хрипота" формирует вкусы польской публики, а тексты песен оказывают заметное влияние на тех молодых людей, которые прибегают к ним впервые (покойный Яцек Качмарский в своих воспоминаниях отмечал, что ему встречались пацаны, не понимавшие по-русски и слушавшие Высоцкого из-за "энергетики" песен). Дело, однако, в том, что Высоцкий по сей день остается в Польше фигурой не просто "знаковой". Он "оторвался" от своих песен и являет собой фигуру культа, экзальтации, фигуру поистине мифологическую. А природа мифа такова, что он оказывает влияние на образ мыслей тех, кто его исповедует.

Мистика фигуры российского поэта и певца запросто проявляется в жизни тех, кто пытается тем или иным образом им заниматься (я пытаюсь избегать слова "бард" – и поэтика текстов, и широчайшая аудитория Высоцкого свидетельствует о том, что понятие "бард" узковато для того, чтобы описать с его помощью данный феномен<sup>[1]</sup>). Я, например, помню такую мистическую минуту: еду я в поезде Варшава–Белосток, и как раз на конференцию, посвященную контекстам творчества автора "Охоты". На конференции я намерен говорить о польских мифах, связанных с Высоцким. У меня на коленях краковская газета "Дзенник польский" – в качестве примера я планирую разоблачить мифологизированную статью о певце. Раздается звонок – зазвенел мой мобильник. "Здравствуйте, пан редактор, моя фамилия вам ничего не скажет – я аспирант из Кракова, слушатель ваших передач, ваш номер сообщили мне ваши коллеги с радио. Я хотел попросить у вас совета по такому-то вопросу..." Мы побеседовали, договорились о встрече. "Давайте я запишу тогда вашу фамилию", – говорю.

Молодой человек наконец представляется. И я в недоумении: я слышал имя и фамилию человека, статью которого как раз читаю и разоблачаю... "А не публикуетесь ли вы в "Дзеннике польском"?" - "Да..." - говорит молодой человек - теперь уже он в недоумении, что его статьи известны журналисту из Варшавы... Как тут не признать Высоцкого фигурой, обреченной на мистику, и столь же обреченными на мистику тех, кто ею занимается?

Но не будем голословны. Давайте проанализируем несколько бытующих в Польше мифов, связанных с Высоцким. Ничего, правда, разоблачать не станем - я лишь покажу на нескольких примерах мощное влияние фигуры поэта на образ мыслей пишущих о нем публицистов<sup>[2]</sup>.

"А может, пребывая в сильно централизованной среде, вам не хватает свободы, вы тоскуете по ней - подобно Высоцкому. Поэтому пение его песен позволяет вам забыть о стрессе на работе..." - такой вопрос интервьюер не существующей уже газеты "Штандар млодых" задал Вацлаву Калете, лауреату "Гран-При" IV Встреч (дословно - Борений) со значимой песней ("IV Zmagania z Piosenka Znacząca"). Это был 1988 год, закат Польской Народной Республики. Журналиста, скорее всего, ошарашило известие, что победитель конкурса исполнителей - любителей Высоцкого - по профессии милиционер, хуже того: офицер милиции. "Я вовсе не жалуясь на отсутствие свободы, - отвечал Вацлав Калета. - Моя работа совершенно обыкновенная, мне не о чем забывать, разве что об усталости".

Таким образом победитель любительского фестиваля демонтировал мифологическую схему, к которой прибег журналист. Согласно этой схеме, фамилия Высоцкого отрывалась от личности исполнителя и начинала свою собственную жизнь. Жизнь фигуры культа. Все, кто, с точки зрения журналиста, прибегал к данной схеме, кто брал в руки гитару и пел, допустим, "Я не люблю", становился "борцом с режимом", какого велит видеть данная схема в актере с Таганки. Проблема ошарашенного журналиста состояла в том, что Вацлав Калета - "борец с режимом" явно противоречил Вацлаву Калете - милиционеру, "слуге режима". Если бы лауреат ответил: "Да, мне не хватает свободы, я тоскую по ней, как Высоцкий", - тогда он подтвердил бы миф и превратился бы (в глазах интервьюера) во "внутреннего эмигранта" в рядах милиции (столь ненавистной большинству польских поклонников Высоцкого того времени).

Интервью, опубликованное 18 лет назад "Штандаром молодых", – показатель первой плоскости мифологизации фигуры Высоцкого в Польше. Плоскости, которую можно бы назвать политико-аксиологической. "Таких похорон не было даже у Сталина", – писала в 20-ю годовщину смерти поэта публицистка польского издания журнала "Elle". "Такие толпы лишь Сталина провожали в последний путь", – писал автор статьи в "Дзеннике польском". Приведенные цитаты иллюстрируют призму восприятия смерти певца. Сопоставление имен Сталина и Высоцкого указывает на то, что имя всеобщего почитаемого творца безоговорочно вписывается в политический контекст. "Однако похороны Высоцкого не были обязательными, а присутствие столь большого числа людей не было продиктовано необоснованным фанатизмом. Людьми правила настоящая грусть, оставшаяся в сердцах поклонников и по сей день", – писал краковский публицист. Получается, что конструкция "Сталин-Высоцкий" – это четкая двухполюсная схема. Одним полюсом остаются здесь похороны Джугашвили, где присутствие толпы – явление траура, правда, массового, но проистекающего из фанатизма. А значит, это церемония, основанная на лжи. И второй полюс – похороны Высоцкого, где толпами людей, прощающихся с любимым певцом, руководит "настоящая грусть". Получается, что синонимом схемы "Сталин-Высоцкий" становится "фальшь-правда". А значит, политическая фигура Высоцкого обретает аксиологическое измерение. К тому же на приведенную схему автоматически накладываются другие, можно сказать, родственные схемы, усугубляющие и политическое, и аксиологическое измерение мифа: "порабощение-свобода" и уже известная по интервью с Вацлавом Калетой схема "режим-бунт". Стоит еще отметить важное свойство природы мифа – то самое, которое легло в основу удивления автора интервью: "потребитель" мифа, эмоционально соединяясь со своим героем, становится рыцарем добра. Наш журналист, беря у себя дома в руки гитару или даже только слушая исполняемые Калетой песни, психологически встает на ту сторону мифологизированного мира, на которой он видит и Высоцкого: на сторону добра, правды, свободы и бунта. Признайтесь, больно, когда все это разрушается грянувшим как гром среди бела дня известием: лауреат фестиваля песен Высоцкого – милиционер!..

Кроме политической плоскости, на которой происходит мифологизация личности Высоцкого, в публикациях польской печати зарисовывается также и пласт, связанный с биографией поэта. Он порождает еще два мифа: биографический и мир варвара. Оба они во многом совпадают. Их общий элемент – канон историй и анекдотов о личной жизни актера с Таганки и,



так сказать, о закулисных контекстах его творческого пути. Неотъемлемые элементы обоих мифов – сюжеты о погубившем Высоцкого алкоголизме, рассказы о его романах и браках, о вспыльчивости и склонности к дракам, наконец, о самородном таланте, не имевшем поддержки в должном образовании. Я не буду здесь описывать эти мифы подробно. Позволю себе обратить внимание читателей лишь на тот интересный момент в их специфике, где биография и "варварство" не пересекаются.

Дело в том, что польские схемы оставляют лишь один элемент биографического мифа вне поля мифа варвара, и наоборот: лишь один "варварский" аспект вне мистики личности поэта. В первом случае это главным образом истории, подчеркивающие мистику кончины Высоцкого (в их числе, например, стрелки часов в московской квартире его матери, остановившиеся ровно в минуту смерти). О современной польской культуре, о польской культурной "программированности" лучше всего говорит, однако, то, что, не выходя на первый план в рассказах о биографии, становится элементом мифа варвара, а именно... русскость Владимира Семеновича. "Русскость", которая сама по себе в польской культуре вызывает ряд отрицательных ассоциаций. "Поэт, актер, русский" – таков один из подзаголовков статьи в "Дзеннике польском", указывающей "русскость" как категорию восприятия Высоцкого. Неловко писать об этом в "Новой Польше", но ведь одна из доминант распространенного среди поляков стереотипного взгляда на представителей русского народа – уверенность в том, что это люди, культурно и цивилизационно отсталые, или даже просто "дикари". В случае Высоцкого эта "дикость" трансформируется в решительно положительную категорию. Русский, представляющий собой фигуру бунтовщика против режима и его норм, а значит, против российского государства и общества, становится своеобразным "анти-русским", кем-то вроде диверсанта – такого же, каким в структурах пээнэровской милиции видится офицер, поющий песни "против режима".

Спустя четверть века после смерти Владимира Высоцкого в польской публицистике его миф "вечно жив". Дело вовсе не в том, что о нем пишут все кому не лень. Статьи об авторе "Я не люблю" выходят в свет не чаще, чем его песни звучат по радио. Однако можно смело сказать, что фигура певца, поэта и актера с Таганки в польском сознании – это призма образа России, ее культуры, ее истории. Миф Высоцкого, "борца с режимом", "русского анти-русского" и "варвара", заполнил в польской культуре чрезвычайно важную "психологическую нишу", став ее языком. Это ниша в мышлении о русских и России, ниша, в

которой культурно заложенный страх и неприязнь заменяется восхищением и признанием за "своего". И вряд ли можно назвать во всей истории двух антагонистических славянских культур подобную личность – назвать имя актера, сумевшего сыграть такую роль. Как ему это удалось? Это, пожалуй, вопрос той самой невиданной "энергетики", понятной даже тем, кто не понимает по-русски...

1. Ср. Ю.Доманский. "Феномен Владимира Высоцкого в культуре русского рока // Владимир Высоцкий и русский рок." Сб. статей, Тверь, 2001.
2. Научному анализу явления посвящена моя статья:  
"Włodzimierz Wysocki i polskie schematy mitologizacji" //  
"Społeczny i kulturowy aspekt twórczości Włodzimierza Wysockiego. Materiały z II Międzynarodowej Konferencji Naukowej." Białystok, 2004

# ЛЕТОПИСЬ КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ

• В Радоме прошли торжества в честь 500-летия со дня принятия конституции "Nihil Novi". В 1505 г. заседавший в городе Сейм принял знаменитую конституцию, начинавшуюся словами "nihil novi" ("ничего нового"), которая провозглашала, что отныне король не может устанавливать новых законов без согласия шляхты. В рамках торжеств была подписана декларация, в которой, в частности, говорится: "Мы считаем принцип национального согласия необходимым условием успешного развития Польши в объединенной Европе - открытой и готовой к сотрудничеству со всеми государствами и народами".

• В петербургской Российской национальной библиотеке открылась выставка "Ежи Гедройц и эпоха "Культуры"", рассказывающая о связях парижского журнала "Культура" с российскими диссидентами, а также о его роли в поддержке свободного слова. Экспозиция сопутствует большой выставке польской научной книги в Санкт-Петербурге.

• Завершился VI Всероссийский конкурс "Человек в истории. Россия - XX век". Среди лауреатов третьей премии - две школьницы, посвятившие свои работы польской тематике: Мария Бережнова из Тайшета ("Польско-русский комментарий польских воспоминаний. Из истории депортации поляков в Тайшетский район Иркутской области") и Ксения Лобова из Котласа ("Пока мы живем...". Страницы польской ссылки на Европейский Север").

• В этом году почетным гостем варшавской Международной книжной ярмарки была Швейцария. На ярмарку приехали также многочисленные гости из других стран - например, израильский претендент на Нобелевскую премию по литературе Амос Оз (автор автобиографического "Рассказа о любви и мраке"), швед Хеннинг Манкель (создатель необыкновенно популярных детективных романов с полицейским Куртом Валландером в главной роли), Кен Фоллет из Великобритании (автор знаменитой некогда "Иглы") и трое украинских писателей: Юрий Андрухович, Сергей Жадан и Любо Дереш. Больше всего было, конечно, польских авторов, но из них мы назовем только празднующего свое 75-летие

Славомира Мрожека и Дороты Масловскую, которая после на шумевшей дебютантской книги "Польско-русская война под бело-красным флагом" издала наконец свой второй роман "Павлин королевы". Во время ярмарки состоялось также открытие акции "Читомания" – всепольской кампании по поддержке чтения. Между тем на книжном рынке царит оптимизм. Его отражает, в частности, представленный на ярмарке интернет-сервис [www.wuzzerpane.pl](http://www.wuzzerpane.pl), с помощью которого можно заказать книги, уже исчезнувшие с прилавков.

- В Варшаве под лозунгом "Кофе и культура" появляются все новые книжные магазины-кафе. Возможность выпить кофе с домашним пирожным в них не менее важна, чем атмосфера, позволяющая углубиться в чтение. Теперь у первого подобного заведения, "Ласкового варвара" на Доброй улице, появился конкурент – "Тарабук" на Броварной. Оба кафе расположены на полпути между Варшавским университетом и университетской библиотекой. "Мы хотим создать место, где читатели и книги будут чувствовать себя хорошо, – говорит хозяин "Тарабука" Якуб Булат. – Нам важно, чтобы у нас были не только не только новинки, но и книги постарше, в том числе университетские учебники, научные книги по антропологии культуры (...) Мы хотим, чтобы у нас были книги, которые трудно найти в других книжных магазинах".

- Вторая книга Дороты Масловской вызвала настоящую бурю. "Полная замечательных языковых наблюдений хип-хоп-баллада о мирке СМИ рассказывает о фабрикующей там славе", – так характеризует "Павлина королевы" Анета Кызёл. Как правило, "Павлин королевы" принимали положительно, иногда даже с восторгом, но не было недостатка и в критике. Например, рецензентка "Газеты wyborczej" написала: "Ценность книги Масловской определяется блестящим стилем и остротой взгляда, однако в ней отсутствуют глубина и интеллектуальное новаторство"

- Влодзимежу Одоевскому, одному из известнейших современных польских прозаиков, живущему в Баварии, исполнилось 75 лет. "Я чувствую давление времени, – сказал писатель в беседе с Кшиштофом Маслоном. – Проклятая политика отрывает меня от самого главного – литературы". Несмотря на это вскоре выйдет сборник его новых рассказов "...и понесли кони".

- Славомир Мрожек – это чаще всего ставящийся в Польше и за границей современный польский драматург, обычно воспринимаемый как мастер абсурда. В краковских торжествах в честь его 75-летия принял участие сам юбиляр (хотя заглянул

он ненадолго и неохотно – Мрожек не любит подобных мероприятий). На Плантах были выставлены огромные копии его рисунков, а хэппенинг абсурдных событий привлек толпы любопытных. В рамках этого хэппенинга краковяне искали ежей-патриотов и писали рифмованную повесть о юбиляре. Из пруда с помощью совершенно не подходящей для этого удочки можно было выловить бутылки с его рисунками, а "торговые агенты" читали всем, кто попадался, фрагменты его произведений. "Это было приглашение отправиться к истокам страхов и опасений, причем не только польских, – комментирует краковские торжества Бартош Шидловский. – Главным героем здесь был не поляк, раздирающий свои национальные раны, а человек, который слишком мало понимает, но слишком многого ожидает и чересчур боится быть счастливым". Вечером в театре "Нова Лазня" организаторы решили, по выражению одного из них, "приблизить зрителям Славомира Мрожека-метафизика (...). Это Мрожек, непрестанно возвращающийся к теме бренности, почти флиртующий со смертью".

- "Надо избегать таких оценок литературы, которые мы выносим из школы, – говорит Анджей Новаковский, директор Института книги и один из организаторов фестиваля популярной литературы "Поплит". – Неправда, что все написанное на уровне Мицкевича – это "литература", а все, что ниже, – "продукция" (...) Популярную литературу читает молодежь, она – неотъемлемая часть книжного рынка (...) Литературное образование невозможно начинать с высокой литературы (...) Если до 15–16 лет человек не приобретет навыка к чтению, то он потерян для книги (...) У нас нет Эйфелевой башни, "Нокии", "Хонды", токая... Лучшее, что Польша может показать миру, – это литература". В рамках "Поплита" в Варшаве и Кракове состоялось несколько десятков встреч с авторами, киносеансов и других мероприятий.

- В списках бестселлеров, в категориях как художественной, так и документальной литературы, первые места занимают книги, тем или иным образом связанные с Иоанном Павлом II. Помимо этого, конечно, Катажина Грохоля ("Личность ночной бабочки"), Януш Гловацкий ("Как быть любимым") и захваливаемый роман Збигнева Менцеля "Все языки мира".

- "Твардовский не хвалится твердостью своей веры, не презирает неверующего, зато его злит самонадеянность коллег, которые "слишком видят", котором кажется, что они разглядели Невидимого, – пишет о 90-летнем юбиляре о. Яне Твардовском Ян Турнау. – А ведь Бог "во всем другой" (...) Он –

Тайна (...) Ян Твардовский уже стал классиком. Его слова "спешите любить людей, они так быстро уходят" стали часто повторяемой по разным поводам формулой". По случаю юбилея вышла книга о Яна "Пробуждать надежду. Азбука девяностолетнего". А в варшавской Национальной библиотеке открылась посвященная ему выставка "Фотографии настоящие, ибо уже непохожие".

- Режиссер, фотограф и художник, создатель "Художественной сцены" Люблинского католического университета Лешек Мондзик был автором идеи и организатором открывшейся в Кельце экспозиции современного религиозного искусства. "В галерее Мондзика представлены две крайности - от крайне консервативных произведений художников, воспринимающих религиозную тематику просто и наивно, до трудного и неоднозначного искусства, - пишет Дорота Ярецкая. - Мне кажется, было бы интереснее, хотя и более рискованно, если бы Мондзик решился пойти по второму пути и отказался от тех полотен, на которых наивно изображены белокрылые ангелы и охваченные огнем красные фигуры бесов (...) Более творческим подходом было бы использовать потенциал, кроющийся в искусстве, которое задает трудные вопросы: что такое *sacrum* и существует ли оно?"

- После смерти Яна Новака-Езёранского его творческое наследие было перевезено во Вроцлав, в Институт им. Оссолинских. Теперь там открылась выставка, на которой представлена часть этого наследия. Экспозиция рассказывает о жизненном пути замечательного публициста, писателя и политического деятеля, а также показывает его пристрастия и представляет часть любопытной коллекции живописи.

- Вторая варшавская "Ночь музеев" привлекла рекордное число посетителей. В акции приняли участие 30 культурных учреждений, а в столицу были доставлены старые автобусы, которые развозили всех желающих по музеям (см. статью "Ночь музеев" на стр. 115).

- На биеннале в Венеции польское искусство было представлено документальным фильмом Артура Жмиевского "Повторение". В фильме действительно повторяется знаменитый американский эксперимент, в котором студенты, игравшие роли заключенных и надзирателей, в конце концов дошли до тотальной агрессии. Однако в своем "Повторении" Жмиевский доказывает, что естественная склонность человека - это конформизм и стремление к компромиссу. "Это не фильм о бунте, - говорит режиссер. - Это фильм о капитуляции, об отказе от своих прав и свободы. Это поразительный спектакль

конформизма". И все же в конце концов "власть восстает против власти". Быть может, это самый интересный вывод из этого фильма.

- "В варшавском Центре современного искусства кинозал так же важен, как выставочный зал, – пишет рецензентка, комментируя несколько последних выставок. – Значительная часть современных художников занимает позицию документалистов. Они подходят к действительности без идейных предпосылок и с помощью камеры исследуют ее, часто провоцируя, чтобы она раскрыла свое естество (...) Недавно Павел Альтамер снял короткий фильм, демонстрировавшийся в кинотеатрах в качестве журнала, а потом на улице, с помощью тех же актеров, воспроизводил сценку, показанную в кино. Границы размыты: невозможно уже не только отличить искусство от обычного документального фильма, но и кино от действительности. Возникает вопрос: зачем тогда вообще выставки? (...) Ответ прост. Выставка – это условность. Выставочный зал – орудие. В выставочных залах возникает новый уровень, открывающий путь этому более трудному документальному фильму, новому жанру фильма без названия".

- О 45-м Краковском кинофестивале, одном из старейших и важнейших в Европе фестивалей, посвященных прежде всего документальному фильму, пишет Юстина Новицкая: "В этом году поражает прежде всего разнородность, отсутствие четкого разделения на национальные или формальные школы. Неясным стало и понятие самого документального фильма – это может быть телевизионный репортаж, поэтическое киноповествование или идеологизированная, прямо-таки пропагандистская картина в стиле Майкла Мура (...) Вопреки тому, что было прежде, режиссеры не эпатируют нас несчастной судьбой героев, а скорее призывают к сопереживанию". Между тем один из членов жюри фестиваля журналист Анджей Колодынский утверждает: "Режиссеры, желая силой показать "всю правду", нередко прибегают к нечестным методам, например напавая своих героев. Сегодня в документальном фильме принимается в расчет прежде всего шокирующее содержание. Настоящие, действительно оригинальные формальные поиски видны лишь в мультипликационных фильмах". И все же первой премии международного конкурса удостоились именно такие эпатирующие фильмы о судьбе женщин в Иране.

- На 75-м году жизни скончался проф. Генрик Клюбa, замечательный режиссер (снявший, в частности, фильмы

"Худой и другие", "Солнце встает раз в день") и многолетний ректор лодзинской Киношколы.

- На экраны польских кинотеатров вышел фильм Джакомо Баттиато "Кароль – человек, ставший Папой", посвященный Каролю Войтыле, впоследствии ставшему Папой Иоанном Павлом II. "Это легенда о человеке, который не позволил убить в себе внутреннюю радость", – написал Тадеуш Соболевский.

- После долгих лет подготовки Сейм наконец принял давно ожидавшийся польскими кинематографистами закон о кинематографии. "Теперь у нас есть закон о кинематографии, соответствующий нынешней системе и европейским стандартам, – пишет Тадеуш Соболевский. – Речь в нем идет не о том, чтобы брать деньги на кино из кармана налогоплательщика. Этот закон исправляет ошибку, допущенную при раздаче концессий телеканалам, когда их не обязали поддерживать производство фильмов на польском языке. Вторая ошибка, допущенная в 90-х годах, заключалась в передаче государственных кинотеатров в частные руки без гарантии, что доходы от продажи билетов будут тем или иным образом предназначены на поддержку польской кинематографии".

- "Главная идея фестиваля состоит в популяризации и награждении лучших теле- и радиоспектаклей, т.е. тех форм, в которых наиболее полно выражается культурная миссия государственных СМИ", – пишет о сопотском фестивале "Два театра" Мирослав Баран. В этом году на фестивале было представлено по 15 теле- и радиоспектаклей. Главные премии получили телеспектакль "Дневник Варшавского восстания" по мотивам прозы Мирона Бялошевского в постановке Марии Змаж-Кочанович и радиоспектакль "Бас-саксофон" Йозефа Шкворецкого в инсценировке и постановке Анджея Пищатовского. Оба награжденных спектакля рассказывают о реалиях немецкой оккупации.

- "Предназначенный для широкого круга интеллигенции словарь имеет своей целью исключительно информировать, а не создавать какие бы то ни было принципы или программы. Он не прославляет и не опорочивает, не гонится ни за сенсацией, ни за пересмотром старых взглядов", – сказано в редакционном предисловии к первому тому Польского биографического словаря, который вышел в свет в 1935 году. Издание словаря продолжается по сей день – до сих пор вышли 42 тома. А летом прошлого года Польский биографический словарь, незаменимый источник сведений по истории Польши, появился в Интернете. "Когда-нибудь это нужно было сделать,



- говорит автор идеи Михал Комар. - ПБС - уникальное в мировом масштабе непрерывное издание университетского уровня. Он с самого начала был и продолжает оставаться элитарным. А мы открыли доступ к нему всем желающим, без ограничений, и вдобавок совершенно бесплатно".

- "В этом году на 43-м Фестивале польской песни в Ополе технологические и организационные новинки сочетались с идеями многолетней давности, - пишет Роберт Санковский. - С одной стороны, фестиваль прошел под знаком кабаре, которое много лет назад было самым интересным пунктом программы (...) С другой - преобладала молодежь, так что концерт "Премьеры", который в прошлые десятилетия делал рекламу величайшим хитам, мог бы с успехом называться "Дебюты"".

- Тот же Роберт Санковский пишет из Яроцина, где некогда проходил легендарный молодежный фестиваль мятежной музыки: "Все шло к тому, что Яроцин станет прежде всего местом воспоминаний. Организаторы обещали хэппенинги, продолжающие традиции времен коммунизма, и выставки, напоминающие о былых временах, хотели вернуть дух ПНР. Все это было (...) Однако прежде всего это был фестиваль публики (...) Это был их праздник. Они пили пиво, кричали "ой-ёй-ёй" под сценой, смотрели показанный в первую ночь фильм "Волна" о Яроцине 1985 года, подхватывали песни старых ансамблей. В то же время они приходили на выставку "Яроцин в объективе госбезопасности", заглядывали в яроцинский музей, где была открыта экспозиция, посвященная истории фестивалей (...) Они превратили Яроцин в фестиваль с человеческим лицом".

- Давно намечавшийся, но запрещенный президентом (мэром) Варшавы Лехом Качинским т.н. "Парад равенства", за проведение которого ратовали общества гомосексуалистов и лесбиянок, все-таки прошел по улицам города. Его участники развлекались, как могли, не нарушая внешних приличий, зато изоощряясь в островах по адресу президента, обосновавшего свой запрет тем, что могут возникнуть беспорядки, поскольку другие (т.е. крайне правая организация "Всепольская молодежь") будут на "парад" нападать, а это может создать угрозу для случайных прохожих. Противники "парада" действительно бросали в его участников яйца, а в конечном итоге получили от президента разрешение провести спустя неделю легальный "Парад нормальности". Против него уже никто не протестовал, так как все забияки шли в его рядах. Тем самым президент города доказал свою правоту.

## ВЫПИСКИ ИЗ КУЛЬТУРНОЙ ПЕРИОДИКИ

После короткого, но увлекательного путешествия в Москву, Тверь (где я участвовал в научной конференции) и Петербург – а это была моя первая (надеюсь, не последняя) поездка в Россию – я еще охотней, чем прежде, читаю тексты, посвященные России. На этот раз мое внимание привлекла статья преподавателя Ягеллонского университета Михала Богуна "Российская псевдоморфоза" ("Пшеглэнд политичный", №70, 2005). Автор, в частности, пишет:

"В „Закате Европы" Освальд Шпенглер ввел понятие "исторической псевдоморфозы", одним из самых выразительных примеров которой была у него Россия после Петра Великого. Сам термин взят из лексики минералогии, где означает минеральное образование, внешняя кристаллическая форма которого не соответствует внутреннему строению и химическому составу. Внутренняя структура "исторической псевдоморфозы" противоречит тому, что рисуется взгляду наблюдателя. Вид ее вводит в заблуждение. Во время чтения книги Юрия Афанасьева мне очень часто приходил на ум этот термин в его первоначальном, минералогическом значении. Россия – это страна, построенная из мнимостей, внешняя форма которых не соответствует тому, что скрывается под окружающей их оболочкой; она полна явлений, которые уже в самом семантическом слое не только что-то скрывают, но и обманывают неадекватностью данных им определений".

Что ж, например, все мы знаем, что коммунизм в России рухнул. Но действительно ли рухнул? После поездки, продолжавшейся всего неделю, трудно сказать что-то с уверенностью. Можно все-таки попытаться описать впечатления. А они довольно разнообразные, в том числе и совпадающие, хотя бы частично, с вышеприведенным суждением. Поражает взаимопроникновение в одном и том же пространстве советской символики (всяческих эмблем, "украшающих" вокзалы или "памятники истории" советской империи) и реалий капиталистического мира. Гуляку, бродящего по несколько отдаленным от центра местам Петербурга, поражает выход на улицу, носящую гордое название... Диктатуры Пролетариата. Смешение языков – вот

первое, может быть поверхностное, впечатление. Обратимся к статье Богуна:

"Афанасьев предлагает нам на первый взгляд известный сюжет. Сюжет о России, стоящей на распутье, – тему, как он сам признаётся, истертую и скучную. Российские распутья, точки, где она раздирается между демократией и авторитаризмом, Востоком и Западом, традиционностью и новизной, занимают историков, мыслителей и художников уже не меньше двух столетий. Однако сегодня эта страна стоит перед окончательным выбором, от которого зависит не только ее будущее, но и судьбы Европы и всего мира. (...) История сохраняет там важнейшее значение, так как Россия даже в сегодняшнем виде "несовременна". Она представляет собой псевдоморфозу современности, не умея освободиться от прошлого. Даже эта неспособность, считает Афанасьев, запрограммирована предшествующей историей. Об этом и рассказывает его книга. Но говорится в ней и о том, как не следует от нее освобождаться. Рецепты, которые предлагает сегодняшняя власть, опасны. Осуществление планов Путина, тщательно скрываемых от общества – как и пристало сотруднику тайной полиции, – может оказаться слишком дорогостоящим и по сути дела ведущим в никуда. Это – то и делает Россию опасной как для самой себя, так и для других".

Автор производит подробный анализ "вербальных фантомов" Путина и приходит к заключению:

"В истории России по-прежнему выступает союз либералов со сторонниками корпоративности, вызванный убеждением в незрелости русских либо уверенностью в нехватке времени на проведение эволюционных перемен. Это тоже источник путинской "управляемой демократии", представляющей собой попытку модернизировать общество без активного участия граждан. Таким образом, все полагается навязывать сверху, создавать государственными "fiat" ["да делается"], воспитывать население, словно непослушных и не слишком умных детей. Проблема, однако, состоит в том, что недоверие приобретает крайние формы. Путин, язвительно констатирует Афанасьев, ведет себя так, словно он по-прежнему офицер тайной полиции. Вместо того чтобы быть президентом, он стал "шпионом №1" в собственной стране: лавирует, сбивает со следа, запускает пробные шары, манипулирует... А ведь он мог бы быть "политиком №1" – сообщать народу, что он думает по вопросам, которые всех тревожат".

В конце Михал Богун пишет:

"Книга Афанасьева – это не только и исключительно критика прежней и современной России. Автор дает также некий рецепт, положительную картину, представляющую собой возможный вывод из его исторического и политического анализа. Перед Россией, как всегда, два пути. Первый, "типично" русский, то есть авторитарный, состоящий в сосредоточении администрации и силовых органов в одних руках. И все это ради достижения определенной цели, о которой общество ничего не знает и знать не должно. Второй путь исторически "чужд" России. Это демократический путь, основанный на компромиссе власти с обществом. Стратегия демократической модернизации кажется ясной, хотя она наверняка нелегка: ликвидация привилегий, демонополизация, свободный рынок, гласность политической жизни, прозрачность хозяйственной и административной деятельности, равенство перед законом, соблюдение общеобязательных, для всех одних и тех же принципов. Однако начать надо с людей – и этим выделяется проект Афанасьева. Высшая цель – возникновение среднего класса, благодаря которому можно будет преодолеть социальную поляризацию, ныне достигающую критической точки. (...) Основа афанасьевского проекта – последовательный политический и экономический индивидуализм. Выживание и развитие России будет зависеть от человеческого капитала, а не от природных ресурсов, распродажа которых поддерживает экономику на плаву. Российская "экономика ренты" опирается на торговлю сырьем, прежде всего минеральными ископаемыми, которые благодаря интенсивному развитию Китая и ближневосточному конфликту сохраняют высокие цены, порождая впечатление, что мягкая диктатура Путина достигает хозяйственных успехов.

В утверждениях русского историка, по-видимому, немало верного. Думаю, что его суждения можно поддержать еще одним аргументом. Не следует путать рост ВВП с ростом национального богатства. (...) Национальная продукция брутто может возрастать, а народное богатство – одновременно убывать. Гипертрофическое развитие рынка товаров и услуг определенного типа, обычно связанное с грабительской эксплуатацией природного сырья и не сопровождающееся надлежащей политикой в отношении других системных компонентов национального богатства, может привести не только ко всеобщему обнищанию населения, но и к хозяйственному кризису. Это вполне может произойти в России, которая ныне потребляет остатки основного капитала времен коммунизма, а опирается главным образом на сырьевую базу. Но – о чем тоже говорит Афанасьев – российские

природные богатства, их качество и величина запасов – это еще один миф. Пока, однако, власти хватает его для поддержания элементарного социального и экономического порядка. В России нужно возродить общественный капитал – вот главный вывод. Это произойдет, если в российском обществе укоренятся либеральные ценности: самостоятельность, ответственность, трудолюбие, новаторство, порядочность, готовность к конкуренции *fair play*, то есть черты, хотя автор этого уже не написал, традиционно буржуазные.

Но это не единственный вывод, который можно вынести из чтения этой книги. Думаю, что замысел Афанасьева идет гораздо глубже, вплоть до оснований исторической жизни России. Рецепт на "панархию" – разумеется, не анархия, а необходимость превратить российских граждан... в нацию. Конечно, в нацию в современном, политическом смысле этого слова. Не случайно русский историк недвусмысленно выступает за унитарный характер государства, а далеко идущую региональную автономию в виде анархически управляемых губерний считает укреплением предрассудков средневековья. Здесь сквозит образ государства, основанного не на местных особенностях и феодальных доменах, а на равных правах и свободах всех граждан и их непосредственной активности. Тогда все – независимо от этнического происхождения, родного языка или религии – станут унифицированным политическим множеством, которое будет связывать общая, хранимая в памяти и понимаемая история, общая территория и единообразный правовой порядок. Это образ суверенной нации, свобода которой построена на том, что каждый из ее членов представляет собой субъект, а не объект. В конечном счете это образ десакрализованной нации, объединяющей граждан независимо от их веры и этнической принадлежности. И это, пожалуй, единственный шанс для России, где сакрализация нации – народа всегда оборачивалась сакрализацией власти и государства, для страны, которую населяет множество этнических общностей, где говорят на разных языках и молятся разным богам. Чтобы выжить, российские граждане должны стать политической нацией, объединяемой не ложным национальным самоопределением или страхом перед повелевающей рукой власти, а гражданскими свободами и возможностью непосредственной активности в публичном пространстве, принадлежащем всем. Быть может, тогда Россия перестанет быть опасной".

В том, что она опасна, не так давно убедился выдающийся поэт и переводчик (прежде всего Мандельштама) Ярослав Марек Рымкевич. В интервью, которое он дал Кшиштофу Маслоню для

газеты "Жечпосполита" и которое Маслонь теперь включил в свою книгу "Евреи, Советы и мы" (Варшава, 2005), Рымкевич говорит:

"Несмотря на возраст и опыт, я, собственно, до сих пор не знаю, что думать о России и русском народе. Иногда я действительно думаю о нем с презрением и ненавистью. А иногда – с любовью и нежностью. Иногда мне кажется, что народ, который причинил своим соседям и всему человечеству столько зла, который душил, убивал, вешал литовцев, татар, поляков, чеченцев, да все народы, с которыми он соседствует, – вообще недостойн существования. (...) Такой дурной народ должен исчезнуть с поверхности земли – пойти на север и утопиться, целиком, в Белом море. А иногда я думаю о русских с любовью и огромной болью, вспоминая, что это страшно несчастный народ, затянутый в маховики истории и подвергнутый там жутким пыткам. Но если это так, если это невинный народ, который со времен татарского нашествия все время попадал в руки каких-то чудовищ и палачей, которые его мучили, – то Иван Грозный, то Петр I, то Ленин, – значит, надо смотреть с восхищением, даже с восторгом на то, что несмотря на все эти страдания, которые его встретили, он сумел произвести на свет Тютчева и Мандельштама. (...) То есть надо так читать русских, так их слушать, чтобы при этом нам открылась истина об их предназначении. Ее находишь, и даже в больших количествах, у Шостаковича. Но я знаю наверняка, что история между Польшей и Россией еще не завершилась, что в ней наступят еще страшные и очень дурные вещи. Это очевидно, так как в истории чаще наступают очень страшные и дурные вещи, а милые и приятные случаются редко".

Разумеется, нет причин, по которым к этим катастрофическим предсказаниям поэта не следует относиться серьезно. Но, как обычно бывает с предсказаниями, лучше всегда держаться от них на расстоянии – хотя бы для того, чтобы они не подтверждали сами себя. Лучше обращаться к более приземленному анализу политических перемен в России, какой мы находим в цикле высказываний различных политологов на страницах "Европы" (2005, №19) – отличного, как ни странно, еженедельного приложения к бульварной газете "Факт". Польским читателям (что важно) представляет свою точку зрения Глеб Павловский в интервью, озаглавленном "Почему Россия не будет просить прощения", которое взял у него Мариан Сельский:

"Анализ своей истории в России не является темой политической дискуссии. Нами в большой мере управляет

прошлое. Мы же никоим образом не можем его себе подчинить. (...) Насколько для СССР отправной точкой была большевистская революция 1917 года, настолько для сегодняшней России – Великая Отечественная война. Хотя это выглядит парадоксом, Российская Федерация, сравнительно молодое государство, которое в июне этого года будет отмечать 15-летие своего суверенитета, реально порождена – по крайней мере в сфере общественного сознания – периодом II Мировой войны и победы 1945 года и из них исходит. (...) Отдавая себе отчет в том, что плохо понятый идеализм может быть причиной кровавых конфликтов и репрессий, я хотел бы подчеркнуть, что среда, в которой я рос, весь этот советский мир, который я помню, почитал высокий идеализм, иногда доходя до фанатизма. Однако он опирался на систему высоких нравственных ценностей. Думаю, что Россия не вполне осознаёт вес и значение советского наследия, если говорить о ее собственном самоопределении. Процесс переоценок, который позволил бы увидеть близость систем ценностей и прямое влияние на наши позиции опыта советской эпохи, еще не начался. Зато пока что он становится причиной конфликтов с Западом. Для государств Западной Европы и в особенности для США Советский Союз был всего лишь преступным режимом, "империей зла". Наше видение и оценка СССР совершенно иные. (...) В ситуации, когда позиции обеих сторон в вопросе оценки прошлого так сильно определяются игрой политических противоречий, о примирении не может быть и речи. Тем не менее теоретически оно выглядит возможным. (...) Однако мне не кажется возможным обратный ход стрелок больших часов и возвращение к прошлому. Этот этап у российского народа уже позади, и я хочу подчеркнуть, что в России сейчас не позволят вернуться к положению начала 90-х. В сознании русских этот период запечатлелся как время, когда бесконечно каялись и признавались в той или иной вине. Преувеличенное покаяние в конце концов выродилось в нечто вроде национального нигилизма. Наступило пресыщение. Сегодня уже нет возврата к той эпохе. Тем более что в ощущении большинства российских граждан готовность к раскаянию умело использовалась в политических интригах и подвергалась далеко идущим манипуляциям со стороны наших партнеров. Лимит христианской готовности ко всеобщей исповеди в России уже исчерпан с избытком".

Глеб Павловский – как известно, политолог. Я, похоже, предпочитаю разговаривать с историками.